НОВАЯ РОССИЯ



МАРТ

1 * 9 * 2 * 6

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1926 год

НА ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
И ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛ

НОВАЯ РОССИЯ

ВЫХОДИТ 1 РАЗ В МЕСЯЦ ПОД РЕДАКЦИЕЙ И. Г. ЛЕЖНЕВА.

Журнал „НОВАЯ РОССИЯ“ дает в каждой книжке исчерпывающую характеристику политической, общественной и культурной жизни истекшего месяца.

В ЖУРНАЛЕ УЧАСТВУЮТ ЛУЧШИЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ И НАУЧНЫЕ СИЛЫ СССР. В ПРОШЛОМ В ЖУРНАЛАХ „НОВАЯ РОССИЯ“ и „РОССИЯ“ БЫЛИ НАПЕЧАТАНЫ ПРОИЗВЕДЕНИЯ СЛЕДУЮЩИХ АВТОРОВ:

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ПРОЗА и ПОЭЗИЯ:

Адалис, Адуев, И. А. Аксенов, П. Антокольский, Арго, Атана, Андрей Белый, Т. Береговая, Бломквист, Конст. Большаков, Мих. Булгаков, Максимилиан Волошин, А. С. Грин, А. А. Демидов, Л. Добычин, Евг. Замятин, Е. Д. Зозуля, Вал. Катаев, Н. П. Катков, Б. Келлерман, Мих. Козырев, С. Д. Кржижановский, М. А. Кузмин, Б. Лапин, Вл. Ленский, Бен. Лившиц, Вл. Лидин, О. Мандельштам, О. Миртов, И. И. Михайловская, С. Нельдихен, Ник. Никитин, Ев. Николаева, Л. Островер, Над. Павлович, Вал. Парнах, Бор. Пастернак, Дм. Петровский, Бор. Пильняк, Елиз. Полонская, М. М. Пришвин, Ал. Ремизов, Всев. Рождественский, Ив. Рукавишников, Бор. Садовской, Л. Н. Сейфуллина, С. Н. Сергеев-Ценский, Юр. Слезкин, Мих. Слонимский, Андрей Соболь, И. С. Соколов-Микитов, Ник. Тихонов, А. Н. Толстой, К. А. Тренев, Конст. Федин, О. Форш, Мар. Шагинян, Г. Шенгели, М. М. Шкапская, Илья Эренбург.

КУЛЬТУРА, ОБЩЕСТВЕННОСТЬ, КРИТИКА:

Проф. С. А. Адрианов, И. А. Аксенов, проф. И. Г. Александров, Н. С. Ашукин, Андрей Белый, М. И. Боголепов, А. Ф. Бонч-Осмоловский, Георг Брандес, Як. Браун, А. А. Брусилов, Д. И. Выгодский, Максимилиан Гарден, Э. Ф. Голлербах, А. Г. Горнфельд, Л. П. Гроссман, И. Груздев, С. Гуль (Христиания), А. Дезен, А. Д. Дикий, (МХАТ 2), Евг. Замятин, С. Д. Кржижановский, А. Р. Кугель (Homo Novus), проф. А. М. Ладыженский, И. Лежнев, Як. Лившиц, Вл. Лидин, Л. И. Логвинович, проф. П. И. Люблинский, Ф. Малов, О. Миртов, С. Нельдихен, А. Р. Палей, Г. Поршнев, Адольф Рифлинг (Берлин), Н. Н. Русов, Ю. В. Соболев, Стрелец, Ив. Стрельников, М. П. Столяров, А. А. Тамарин, проф. В. Г. Тан-Богораз, проф. В. И. Терновский, проф. Н. В. Устрялов (дискуссионно), проф. Ю. И. Фаусек, О. Форш, проф. Я. И. Френкель, проф. О. Д. Хвольсон, М. А. Чехов (МХАТ 2), М. С. Шагинян, Вик. Шкловский, П. Е. Щеголев, Карл Эйнштейн (Германия), Илья Эренбург.

„НОВАЯ РОССИЯ“ по типу приближается к англо-американским журналам и содержит более 7 листов печатного материала.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА: на 1 год 5 р. — к., на 3 месяца 1 р. 35 к.; „ 6 мес. 2 р. 60 к., „ 1 „ — р. 50 к. } **12 кн.**

Подписка принимается Конторой журнала:
Москва, Тверская улица, 24, телефон 3-46-75,
И УПОЛНОМОЧЕННЫМИ КОНТОРЫ ПО ПРИЕМУ
ПОДПИСКИ ВО ВСЕХ КРУПНЫХ ГОРОДАХ СССР.

Рукописи и книги для отзыва направлять в адрес редактора: Б. Полянка, 15, кв. 7, тел. 3-06-03.
Рукописи размером менее печатного листа редакцией не сохраняются.

См. объявление после текста на обложке.

НОВАЯ РОССИЯ

№ 3

МАРТ. — 1926

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ПОЛИТИКИ — ЭКОНОМИКИ — ОБЩЕСТВЕННОСТИ — ЛИТЕРАТУРЫ — ИСКУССТВА — КРИТИКИ

СОДЕРЖАНИЕ: *Редакционная.*—XX век или XVII век?—*С. Маневич*—Жилполитика завтрашнего дня.—*Старик*—Ростки фашизма?—*Проф. Н. В. Устрялов*—У окна вагона (окончание).—*Мих. Козырев*—Повесть о собаке.—*Бор. Пильняк*—Расплеснутое время.—*Ив. Рукавишников*—Ледоход.—*Бор. Лапин*—„Солдат учись“...—*Андрей Соболь*—Столица Мугани—Ленино.—*Ал. Тамарин*—Человеки.—*Инна Чернецкая*—Париж.—*Андрей Белый*—Дневник писателя.—*И. Аксенов*—Почти все о Маяковском.—*Ал. Блок*—Солдатская сказка.—Библиография.

XX ВЕК ИЛИ ВЕК XVII?

Процессы современной жизни нашей страны и одновременно оценки этих процессов так противоречивы, что не раз и не два останавливаешься в раздумье:

— Что же это происходит в действительности,— стремительное восхождение в гору или неудержимое сползание по крутизне? Рост или усыхание? Индустриализация или „кустаризация“? Впрямь „локомотив истории“ или всего-лишь навсего самодельные кустарные санки? В годы гражданской войны даже фронтовое словечко сложилось: „Они нас танками, а мы их — санками“. И не есть ли весь газетный „гром побед“ — только старороссийское „шапками закидаем“?

Одни утверждают —„мир грядущего“, другие с сухим упорством свидетельствуют о возврате в XVII век, пророчат век IX. И те и другие ссылаются на факты современности, хозяйственные и культурные. И те и другие цитируют „книгу жизни“ и, как в евангелии, находят в ней каждый „по потребности“.

Перелистаем и мы очень бегло (как это возможно только в короткой передовой) „книгу жизни“ и посмотрим, о чем она нелицеприятно свидетельствует.

Раскроем книгу на том разделе, который можно было бы условно назвать: „Послание от НКПС“.

Транспорт — извозчик хозяйства. В обычное, нормальное время он везет столько, сколько нагружает его хозяйство. Мощность транспорта, его грузообороты определяются экономикой страны, пропорционально соответствуют ей. Ныне соотношение вывернулось наизнанку; транспорт ставит пределы развитию товарооборота. И мы слышим из компетентных уст Наркомпути тов. Рудзутака: „мы вступаем в полосу транспортного кризиса, ставящего под угрозу развитие всего народного хозяйства“. (Речь на всесоюзном съезде железнодорожников.)

Перевозки нынешнего года должны превысить сумму перевозок двух предыдущих лет вместе взятых, т.-е. увеличиться почти на миллиард пудов.

За первую половину марта непогружено 50.000 вагонов. Речь здесь идет о грузах, предъявленных отправителями.

В нынешнем году количество перевозок должно удвоиться. Но увеличился в течение месяца и непогруженный остаток хлебов.

Близится посевная кампания, и многие сезонные грузы (сельско-хозяйственные машины, семена и проч.) долгими неделями вылеживаются на станциях, дожидаясь очереди, — наряду с хлебофуражом и иными товарами.

Тов. Рыков в своей речи в Ленинграде отмечал резкую пестроту хлебных цен. В Сибири, напр., в конце января рожь стоила 6 гривен, а в Центральном районе — 1 р. 20 к., т.-е. *ровно вдвое*. Тов. Рыков утверждал, что это свидетельствует о нашем неумении торговать. Оценка эта, сама по себе правильная, недостаточна однако. Разница цен свидетельствует еще и о транспортных затруднениях: за морем—телушка полушка, да рубль перевозу. Иной хлебозаготовитель мирится с тем, что его товар гниет по вокзалам, а другой — по-старинке — погружает хлеб на подводы и — с богом „тише едешь — дальше будешь“.

Тянутся бесконечные обозы и перебрасывают грузы на 200—250 верст. Этим прадедовским способом пользуется чаще всего частный капитал, грузы которого, естественно, отнесены в последнюю категорию.

В ожидании железного коня, товары нагружаются на живую лошадку, и она плетется по Волге-матушке, по снежным равнинам и долинам сотни верст, воскрешая в исторической памяти пейзажи прошлых столетий...

Таковы наши „маленькие недостатки механизма“. На-ряду с ними—недостатки и нехватки крупные.

Водной линии с транспортной проблемой стоит топливо. Трудности, выросшие перед нами на этом участке хозяйственного фронта, также недостаточно осознаны нашим советским общественным мнением.

Каменноугольная промышленность, как и другие отрасли нашей промышленности, испытывает особенно острый недостаток оборотных средств и машинного оборудования. Работа по механизации угледобычи осложняется тем, что машины находятся в действии от 7 до 13 лет. Конструктивно устарелое и технически изношенное машинное оборудо-

вание требует частого ремонта. Ремонт очень длителен: недостающие запасные части надо получить из-за границы. Длительный и непроизводительный простой машин существенно снижает продукцию шахт.

Ожидавшиеся из-за границы новые машины, погрузочные механизмы и прочее оборудование, *заказанные по кредитам 1924—25 года, пока еще не* получены.

Голь на выдумки хитра. Применяются всякие упрощенные способы добычи и погрузки, но эффект, конечно, далеко не тот.

Наибольшие трудности мы испытываем, конечно, с дровозаготовками. В первом квартале ожидались заготовки в 30 проц., в действительности мы имели менее половины — лишь 14 проц. Заготовки в январе и в феврале несколько возросли, но они далеко недостаточны для того, чтобы покрыть дефицит первого квартала.

Последние недели до окончания санного пути в ударном порядке проделывалась сверхсильная работа по дровозаготовкам. Она, может быть, улучшила положение, но радикально изменить его не могла. Сейчас идет речь о продолжении заготовительных операций *весной и даже летом.* Это позволит создать на местах некоторые запасы дров, с тем, чтобы они, просохнув за лето, могли быть в начале будущей зимы подвезены к железным дорогам.

Особые надежды возлагаются на минерально-топливные рессурсы на местах и на торф. Угольным трестам Подмосковного бассейна, Урала и Сибири будет предложено значительно увеличить добычу угля. Потребителям центрального района придется приналечь на торф, как на местное топливо.

Вообще роль мест в наблюдении за ходом дровозаготовок и контроле за расходованием дровяного и минерального топлива значительно возрастает. Местам придется в отношении топлива помочь себе самим.

Третий вопрос, привлекающий особенно усердное внимание центра — это жилищное строительство.

Здесь, в порядке тех же трудностей роста, речь идет о голодной норме. Удовлетворение потребности в новой жилой площади даже по существующей голодной норме потребовало бы новых строений в полтора миллиона кв. саж., т.-е. затрат в 700 милл. рублей. Этих денег мы сейчас не имеем. Цекомбанк располагает лишь суммой в 100 милл. рублей.

Седьмая часть голодной жилищной нормы — вот на что мы можем разчитывать „всерьез и надолго".

Этому вопросу мы посвящаем в журнале отдельную статью инженера С. Л. Маневича.

Текущие узловые вопросы нашей политики—транспорт, топливо, жилищное строительство. Их разрешение не может быть делом одних лишь „инстанций". Они требуют мобилизации общественного внимания, неустанной работы мест.

Попробуйте сложить все это вместе: и трудности кратковременные, и трудности более длительные, и недостатки механизма, и недостаточность самого механизма — что ж это, похоже на рост? Но если вы хоть сколько-нибудь объективны и не до самого горла переполнены обывательской желчью, раздражительностью, неверием — вам придется сложить и другую сумму фактов: 7.200 милл. пуд. перевозок, повышение перевозок за один лишь год на миллиард пудов, начало постройки нового подвижного состава в нынешнем году, кредиты в Германии, *которые должны дать 30—40 милл. руб.* на приобретение новых станков, новую ремонтную и строительную программу, которая должна удовлетворить полностью потребность транспорта в вагонах в течение двух лет. Что ж это — регресс?

Современность противоречива. Элементы роста в ней переплетены с отставанием, с откатом в прошлое. Транспорт рядом с сохой. Но так как индустриализация — трудный путь, требующий долгих сроков и больших денег, а мы находимся лишь в начале пути и денег у нас нету, то ближайшие годы будут характеризоваться усилением кустарных промыслов, развертыванием мелкой и местной промышленности, расцветом ремесел и подсобных дел. Существенно возрастет роль провинции. Вместе с тем неизбежно подымется удельный вес частного капитала, по условиям нашего законодательства прикрепленного к периферии хозяйства, а отчасти и к периферии страны.

Этот вывод в полной мере подтверждается анализом утвержденного Советом Труда и Обороны плана капитальных работ на 1925—26 г. В условии наибольшего благоприятствования ставится тяжелая индустрия, промышленности топливная, металлическая. Такое распределение кредитов соответствует не только директиве XIV партсъезда об индустриализации страны, но и непосредственной объективной возможности. Большинству отраслей легкой промышленности червонное кредитование не так уж поможет. Оно нуждается в импортных товарах: в сырье, в полуфабрикатах, в заграничном машинном оборудовании.

Сырьевые затруднения испытывает шерстяная промышленность. Остро стоит сырьевой вопрос перед Шелкотрестом. Задержками в доставке из-за границы сырья тормозится работа заводов Резинотреста и т. д. и т. д. Уже решено произвести пасхальную остановку хлопчатобумажных, тонко-суконных и камвольных фабрик, а также удлинить обычную летнюю остановку этих фабрик. Сокращение импортного плана делает временно ненужной рабочую силу. Помогут ли приполной загрузке наличного оборудования и при отсутствии заграничного сырья — червонцы?

Между тем товарный голод обостряется и лихорадочно взвинчивает спрос. Состояние московского рынка в первой половине марта подтвердило это в полной мере. Мы видели, как городской спрос достиг крайней степени напряжения, как хвосты очередей осаждали магазины, опорожняли полки. Покупатели разбирали все — нужное и даже непосредственно ненужное, что подвертывалось под руку, что попадало на глаза. Центросоюз предъявляет Текстильному синдикату требование сдать ему в третьем квартале 3000 вагонов мануфактуры, а совет по делам местной торговли — 930 вагонов. И председатель правления синдиката тов. Килевиц

жалуется: „Если бы ВТС закрыл все свои отделения, то он все же должен был бы недослать 730 вагонов!"

Неудовлетворенный, ненасыщенный центровой промышленностью спрос обращается к кустарю, побуждает его развивать свою продукцию, работая у прадедовского станка, выкорчевывая подножное сырье. А одновременно частный торговый капитал умело использовывает товарную депрессию, всякими правдами и неправдами накопляет столь драгоценные товары, делает значительные запасы, перекачивает добро в свой лабаз и „по божеским ценам" снабжает деревню.

Так, естественным ходом вещей в нашем хозяйстве, на крайних флангах его, растут и крепнут два кулака: тяжелая индустрия и кустарные промыслы, технически-прогрессивные формы и технически-отсталые, XX век и век XVII, государственный капитал и частный. Поляризация сил обостряется тем, что звенья легкой промышленности в своем росте приостановились.

Особое совещание при главном экономическом управлении ВСНХ предприняло чрезвычайно интересную и государственно необходимую работу по выяснению роли частного капитала в торговле, *в промышленности*, на денежном рынке.

Далеко не законченное изучение вопроса показывает, что частный капитал угнездился в очень деликатном месте: на стыке между городом и деревней. Его удельный вес особенно значителен в таких отраслях промышленности, как мукомольная, маслобойная, крахмально-паточная, махорочная, кожевенная.

Не останавливаясь на подробностях, укажем здесь только, что большая часть зерна перерабатывается мельницами неценэового рынка, которые на 80% принадлежат частному капиталу.

В мукомольной промышленности наблюдается тенденция усиления частного капитала.

То же в маслобойной промышленности. Большая половина урожая маслосемян попадает в частные руки. Кустарная и частная промышленность обслуживает, главным образом, крестьянский рынок, потребности которого в растительных маслах составляют 83% общей потребности страны. Но и городской маслобойный рынок удовлетворяется на 25% *кустарной и частной маслобойной промышленностью.* Эта промышленность, по свидетельству авторитетных органов, в последнее время имеет тенденцию к росту.

В крахмально-паточной отрасли промышленности частный капитал имеет крупное значение. В одной лишь Ярославской губ. — свыше 1000 кустарей, вырабатывающих крахмал.

В махорочной промышленности, по неполным сведениям, продукция частного капитала составляет, примерно, четверть всей махорки, вырабатываемой промышленностью СССР, а в торговле махоркой роль частного капитала определяется в 40 проц.

В кожевенной промышленности роль частного капитала в производстве обуви определяется в 75%, продукция составляет 30 миллионов пар. Свыше 42% всего товарного сырья переработано частным капиталом, выработавшим готовых кож на 100 милл. руб. Одних обувных кустарей насчитывается 350.000 чел. Собственный капитал, вложенный в частную кожевенную промышленность при довольно оживленном обороте, составляет 25 милл. руб.

Роль частного капитала в торговле общеизвестна. Не менее значительна его роль на денежном рынке. Здесь он устремляется в атаку на валюту, обеспечивающую червонец, снижает его реальную стоимость. Стоимость бюджетного набора по Москве на 15-е марта по ценам вольного рынка (на 10 довоенных руб.) составила 21 р. 62 коп.

Мы видим, как частный капитал на стыке между городом и деревней идет наперерез „смычке", как на денежном рынке он идет наперерез устойчивости червонца. Оба эти пункта—и „смычка" и червонец — имеют исключительное государственное значение: здесь экономика вонзается в политику, в особенно чувствительные ее узловые скрещения.

Когда государственные магазины пустеют, а лабазы частника пухнут, и он снабжает товаром хотя бы втридорога, деревенский потребитель склонен его считать „благодетелем", и всякий затор частнику считает косвенным затором самому себе. Так психологически, а стало быть, в массе — и политически—мелкий потребитель и мелкий торговец настраиваются в унисон друг другу. Последствия слишком очевидны.

Между тем в течение ближайших лет, если не произойдут какие-нибудь радикальные изменения, роль частного капитала в кустарной промышленности должна будет сильно возрасти. Не произойдет ли за это время на этом частно-хозяйственном полюсе слишком большое накопление капиталов и денежных и товарных и, соответственно, политических? И если да — то какую это диктует линию поведения?

В 20-х числах марта мы слышали в Деловом клубе доклад тов. Ларина о нынешних хозяйственных трудностях. Со свойственной ему линейностью суждений он свел весь сложный комплекс вопросов к одному заданию: снижение розничных цен. Панацеей от всех зол и бед тов. Ларин считает сведение на-нет частного капитала. Тов. Ларин остался верен себе: отрыжка военного коммунизма; дальше того фантазия не работает. Другой доклад на *ответственнейшую тему „Проблема беспартийности"* делал в Доме Союзов сменовеховец Ю. В. Ключников. Тут уж были совсем обывательски - беспомощные ламентации. Оказывается, все мещанство в нашей стране идет от нэпмана, а нэпман насаждает джаз-банд потому, что ему иначе некуда деньги девать...

Несравненно здравей Ларина и Ключникова подошло к делу совещание при главном экономическом управлении ВСНХ. Оно указывает на необходимость правильного использования частного капитала и вовлечение его в плановое государственное русло. Бюджетно-финансовая секция Госплана также рекомендует максимальное вовлечение частного капитала из скрытого состояния в легальный оборот.

Эти меры — и осмысленные, и государственно

необходимые—все же вопроса не разрешают. Дело совсем не в посреднике, а в потребителе. Дело не в нэпмане, а в крестьянине. Государству необходимы товары, необходимо насыщение деревенского рынка, необходимо политическое отвоевание крестьянства. Для этого нужна валюта—от нее все качества: и новое машинное оборудование, и импортное сырье, и растущая продукция, и снижающаяся безработица. Валюту можно добыть двумя путями: компромиссным соглашением с Западом (в этом смысле решающее значение имеют ведущиеся в Париже франко-советские переговоры) и правильной политикой в деревне, дающей эквивалент валюты — экспортный хлеб.

Мы уже писали в конце января, продумывая итоги XIV партсъезда, о необходимости действительной выборности крестьянских кооперативов, о превращении крестьянина в действительного коллективного экспортера сельскохозяйственных товаров. Мы писали в конце февраля, в связи с ростом трудностей роста, о необходимости легализации более высокого жизненного и технического уровня крестьянского хозяйства, о полной ясности в больном вопросе о кулаке.

Обзор политической и хозяйственной обстановки в конце марта выдвигает со всей остротой вопрос о частном капитале. Это с другого конца подтверждает правильность наших прежних оценок и предложений и дает новое, дополнительное доказательство их жизненности.

ЖИЛПОЛИТИКА ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ.

С. МАНЕВИЧ.

Едва ли не самый злободневный вопрос сегодняшнего дня—жилищный. В учреждениях, в фойе театров, в квартирах, в трамваях, автобусах и магазинах самой животрепещущей темой разговоров, горячих и страстных, служат жилищные условия.

Джером, кажется, сказал, что есть общечеловеческая тема, на которой сходятся все люди без исключения—старые и молодые, толстые и тонкие, сангвиники и флегматики. Тема эта—собака.

Если согласиться с Джеромом, что международной темой, захватывающей даже случайных, незнакомых собеседников является собака, то в отношении Москвы с уверенностью можно признать такой всеобъемлющей темой —жилище.

И если беседы о собаке носят в достаточной степени платонический, отвлеченный характер, ведутся, так сказать, для пользы пищеварения, то всякое суждение московского жителя о жилище пропитано напряженностью, значительной долей личной, материальной заинтересованности, порой горечью обиженного, порой торжеством победителя.

Манометром напряженности жилищного вопроса служит суд. Едва ли найдется счастливчик, не судившийся по жилищному делу в качестве ли истца, или ответчика. Здесь и седобородые профессора, оторвавшиеся от своих опытов для подачи кассационной жалобы, и артисты с именами, отражающие атаки на дополнительную площадь, и выселяемые неопределенных занятий личности, и добивающиеся жилья юные рабфаковцы. Словом, вся Москва в сверкающем многогранном калейдоскопе—от кожаных курток до котиковых манто,—от щеголеватых гетр до валенок, дефилирует бесконечной вереницей перед судейским столом.

Что привело население Москвы к жилищному голоду, к „гробовой“ жилищной норме?

Чтоб уяснить себе причины этого кризиса, необходимо совершить экскурсию в прошлое, к самым истокам зарождения неожиданно вынырнувшего на поверхность жизни жилищного вопроса. Необходимо шаг за шагом проследить извилистую тропу жилищной политики, не всегда проявлявшей достаточную дальновидность и предусмотрительность.

В эпоху военного коммунизма все жизненные блага предоставлялись населению бесплатно. Исключения не составляли и жилища. Эта была своеобразная райская эра, золотой век на земле. Люди жили в домах, способствовали их естественному изнашиванию, присутствовали при их медленном умирании от ветхости,—и не замечали или, вернее, не давали себе труда замечать это.

Великолепным лозунгом того дня было бесплатное жилище и никто в серьез не задумывался, под какой же крышей он будет ночевать, когда жилье его развалится. Люди буквально проедали свой жилищный фонд и мало интересовались тем, из какого же урожая они пополнят свои жилищные запасы в момент, когда существующий жилфонд будет съеден до последней крошки.

Но все прекрасное недолговечно... С нарождением НЭП'а лозунг бесплатного пользования жилищем был отвергнут. Все стало платным. И жилище не избегло общей участи. Жилищные органы обратили внимание на катастрофическую быстроту, с которой разрушались дома и предложили жильцам—пользователям жилищ—взять на себя попечение об их поддержании. Были установлены ставки квартирной платы, по своему микроскопическому масштабу годные только, пожалуй, для поддержания карточных домиков. Но все-таки даже и на те гроши, которые текли в кассы домовладений, кое-что удавалось делать. Поступательный темп разрушения домов несколько замедлился, но все-таки продолжался.

Жилищный фонд непрерывно уменьшался, население Москвы неуклонно возрастало. Невязка между предложением и спросом приобретала все более угрожающий характер.

Следующим этапом жилищной политики был лозунг восстановления жилищ. Дома передавались на льготных условиях коллективам жильцов с обязанием их произвести капитальный ремонт владения. Впервые после долгих лет застучали на

крышах кровельщики и загуляли по обветшавшим стенам кисти маляров. Дома стали приобретать облик перезрелых красоток, совершивших набег на магазин Жиркости и появившихся на людях при вечернем освещении. В полусвете как будто и ничего.

Но сколько ни лечи человека, сколько ни ремонтируй машину,—исход один и для одушевленных, и для неодушевленных предметов. Предельный срок существования, после которого наступает окончательная остановка организма или механизма. Средняя продолжительность жизни каменного дома равняется 80—100 годам, деревянного 40—50 годам.

Отсюда вывод, что если заниматься только поддержанием и восстановлением жилищ, как бы добросовестно это ни выполнять, через 100 лет от Москвы, пожалуй, остались бы одни развалины. Нельзя, следовательно, ограничиваться перекрытием крыш и побелкой фасадов домов—требуется другое: подготовка нового жилищного фонда.

Чтоб реализовать жилищный фонд, нужно приступить к строительству. Только с 1924 года наметились первые робкие шаги по постановке дела жилищного строительства на прочную базу. Но и тут было немало ошибок и недооценок трудности поставленной на разрешение задачи.

Курс был взят на беднейшее население. Рабочие и мелкие служащие должны были кооперироваться и на свои взносы строить жилища. По данным на 1925 г., средняя стоимость одной квадратной сажени жилплощади деревянного дома составляла 500 руб., каменного—793 руб. Расходы по определению этой суммы, даже при условиях долгосрочного кредита, оказывались несоразмерно высокими для бюджета беднейшей части трудового населения Москвы.

В результате жилищно-кооперативное строительство сводилось к беготне по испрашиванию ссуд и строительству постольку, поскольку ссуды эти заполучить удавалось. Собственные же средства кооперации оставались микроскопическими.

Другим источником капитализации средств на восстановление и возведение жилищ должна служить квартплата. На протяжении последних двух лет мы видим постепенное ее повышение и приближение к действительной стоимости жилища.

По своему принципу квартплата должна покрывать: а) эксплоатацию в тесном смысле, б) аммортизационные расходы, в) проценты на затраченный капитал. Другими словами, назначение квартплаты заключается в поддержании зданий, восстановлении их и, что самое главное, в накоплении капитала для нового строительства.

Насколько же близка существующая квартплата к действительной стоимости жилища?

По данным обследования, произведенного ГУКХ'ом, около половины граждан городского населения платит по 38 коп. за 1 кв. сажень. Соответствует ли эта плата действительной стоимости владений?

По подсчетам тов. Шейниса („Коммунальное Дело", № 2), одни только эксплоатационные расходы по дому выражаются в размерах 2 руб. с 1 кв. саж. Аммортизационные расходы тов. Шейнис исчисляет в 15—50 коп. с 1 кв. саж.; проф. же Бернадский—в 60—75 коп. для деревянных и в 1 руб. для каменных строений. Проценты на затраченный капитал, по вычислениям тов. Шейниса, составляют 3 руб. 35 коп. в месяц с 1 кв. саж. Таким образом, действительная стоимость 1 кв. саж. жилой площади выражается в сумме около 6 руб. против 38 коп., которые платит половина городского населения.

Вполне ясно, что при надвигающемся жилищном голоде такая „игра в благотворительность" является совершенно неуместной и приводит к тому, что жилищное хозяйство заканчивается с ежегодным дефицитом, достигающим по всему Союзу ССР 120 милл. руб. в год (статья тов. Вельмана в № 46—26 г. „Правды"), а по Москве, по указанию тов. Попова-Сибиряка,—14 милл. рублей.

Нельзя кстати не отметить также осуществления лозунга — равномерное распределение площади. В этом большая заслуга жилищных органов Советской власти и одно из значительных достижений Октября.

Дореволюционные условия значительной массы московского населения были поистине трагичны. 300 000 человек ютились в каморочно-коечных помещениях, 120 000 жили в подвалах и полуподвалах. В ночлежных домах, рассчитанных на 2 828 человек, при обследовании в 1910 г. было обнаружено 7 240. „Переуплотнение" в ночлежках достигало таких размеров, что еслиб все ночующие попытались устроиться на нарах, каждому пришлась бы „жилнорма" в 7—8 вершков.

Эта скученность и теснота, сопутствуемые неизбежными антисанитарными условиями, влекли за собой чрезвычайно высокий % смертности среди московского населения. В то время, как до войны на каждые 1 000 человек умирало: в Лондоне 14,6; в Берлине—15,4; в Вене—17,3, в Париже—18,5,— в Москве эта цифра достигала—27,5.

Жилищный передел, проведенный Советской властью, снизил по Москве эту цифру с 27,5 до 14,6 в 1923 и первой половине 1924 г.

Но и в деле перераспределения жилой площади не обошлось без некоторых курьезов. „Унификация" распределения жилья проводилась порой слишком прямолинейно. Достаточно вспомнить дело В. Бонч-Бруевича, заслуги которого достаточно известны, и который по жилищному делу 37 раз представал перед судейской трибуной.

Недаром тов. Семашко, вспоминая об этом случае, привел историю „мальчика без штанов" и указал, что не резон снимать с гражданина штаны только потому, что другой таковыми не обладает.

Итак, приходится признать ряд допущенных ошибок, повлекших за собой чрезвычайное обострение жилищного вопроса. Только теперь ощупью мы подходим к правильному разрешению задачи. Только теперь начинают намечаться те вехи, по которым должен быть проложен новый путь к изжитию наболевшего жилищного вопроса.

Эти опорные пункты, на которых будет базироваться жилищная политика завтрашнего дня, следующие:

1. Прежде всего изменение ставок квартплаты в сторону приближения их к действительной сто-

имости жилища. Согласно законопроекта, находящегося на рассмотрении Госплана, в каждом городе устанавливаются основные ставки квартирной платы соответственно стоимости эксплоатации, ремонта и амортизации единицы жилой площади в размере от 1 руб. 50 коп. до 2 руб. 50 коп. за кв. саж. в зависимости от местных условий. С этой ставки местные исполкомы устанавливают скидки для лиц с низким заработком: с заработка до 50 руб. не свыше 50 проц., от 50 руб. до 100 руб.—не свыше 30 проц., и от 100 руб. до 150 руб. не свыше 10 проц. Наоборот, лица наемного труда, кустари, ремесленники и лица свободных профессий с высоким заработком оплачивают сверх основной ставки еще и проценты на строительный капитал из расчета 11 коп. в месяц за кв. метр на каждые полные 50 руб. сверх заработка в 150 руб., но не свыше 89 коп. за кв. метр. Таким образом, законопроектом сохранен классовый принцип, но в то же время создается возможность оплаты потребителями жилища по себестоимости последнего, при чем высококвалифицированная категория рабочих и служащих будет оплачивать не только эксплоатационные и амортизационные расходы, но также и часть процентов на затраченный капитал.

Что же касается нетрудовых категорий жильцов, то вопрос в отношении их остается неразрешенным. Нам думается, что предоставление им возможности проживать в муниципализированных домах при существующем жилищном голоде не рационально. По сведениям МУНИ, свыше 5% жилой площади Москвы (свыше 1 милл. кв. арш.) занято лицами, живущими на нетрудовые доходы. Все меры административного и судебного воздействия на нетрудовой элемент в смысле изъятия у них площади давали до сего времени незначительный эффект. Под тем или другим соусом они в большинстве случаев оставались на занятой ими площади. Здесь нужно применить метод „не дубьем, а рублем“, произвести не административно-судебный, а финансовый нажим. Эта мера послужит стимулом к оживлению частного жилстроительства, что одновременно даст удачное разрешение двум задачам—с одной стороны, частные капиталы будут использованы не на спекуляцию и ажиотаж, а на дело общегосударственное—увеличение жилищного фонда, с другой,—освободится значительная площадь, занимаемая в настоящее время нэпманами в муниципализированных домах, что несколько облегчит жилищный кризис.

2. „Признать, что изживание жилищного кризиса возможно только лишь при широком жилищном строительстве“ (из резолюции Моск. Губисполкома от 4/III—26 г.).

Для этого необходимо оставить прекраснодушные мечтания о строительстве исключительно за счет ссуд государства. Чтоб действительно создавать новые жилища, следует привлекать более состоятельные слои трудящихся к несению бо́льших расходов, гарантируя им предоставление жилищ в первую очередь. Цель строительства должна заключаться не в узкой задаче предоставления 2—3 кв. саж. Иванову или Петрову за его трудовое происхождение, а в возведении возможно большего количества вновь отстроенных домов. С привлечением же больших средств дело строительства пойдет интенсивнее, и все Ивановы и Петровы, ютящиеся на однозначно выражаемой жилой площади, получат достаточные помещения.

Как уже упоминалось выше, следует привлечь к строительству и частный капитал.

3. Наконец, Моссоветом приняты меры к проведению плана муниципального строительства в следующем порядке:

в 1926 г.	— 20,9	мил. кв. арш.
„ 1927 г.	— 22,8	„ „ „
„ 1928 г.	— 25,1	„ „ „
„ 1929 г.	— 27,4	„ „ „
„ 1930 г.	— 29,6	„ „ „

Притом строить следует ежегодно:

в 1926 г.	— 1	мил. кв. арш.
„ 1927 г.	— 2,0	„ „ „
„ 1928 г.	— 2,4	„ „ „
„ 1929 г.	— 2,4	„ „ „
„ 1930 г.	— 2,4	„ „ „

Средняя норма на душу будет подыматься следующим образом:

в 1926 г.	— 10,5 кв. арш.	Повышение за год	0	кв. арш.
„ 1927 г.	— 11,0 „ „	„ „ „	0,5	„ „
„ 1928 г.	— 11,6 „ „	„ „ „	0,6	„ „
„ 1929 г.	— 12,2 „ „	„ „ „	0,6	„ „
„ 1930 г.	— 12,9 „ „	„ „ „	0,7	„ „

Можно рассчитывать, что при дальнейшем подъеме квартирной платы понизится норма износа зданий и таким образом в 1930 г. мы достигнем 13—13,2 кв. арш., т.-е. нормы 1917 г.

„Не ошибается тот, кто ничего не делает“. Учась, мы ошибались, ошибки свои признаем и не должны за них слишком краснеть. Ошибки были школой, обогатившей нас опытом. Использовав его, мы выберемся из тупика, в котором топтались.

Приближение квартплаты к действительной стоимости домов, оздоровление принципов жилкооперации, укрепление и твердое проведение плана муниципального строительства—вот те здоровые принципы, которые усвоены после столь горьких неудач.

■■■■■■■

РОСТКИ ФАШИЗМА?

(Письмо к редактору.)

Дорогой мой Лежнев!

Я крайне польщен вашим симпатичным письмом. Значит, я еще не забыт... Но ваше предложение „написать статью, фельетон, очерк, воспоминания (неужели я уже так стар?) — что-нибудь“ — я категорически отвергаю. Тем более категорически, что у меня было искушение,—не скрою... Вы знаете, я ушел от журналистики — и ушел сознательно, — потому что я решил уйти, а не потому, что так сложились обстоятельства. Я саботирую, Я, конечно, рад, что ушел, — я почти счастлив. Я подошел вплотную к жизни, к реальностям, — наконец-то! — лучше поздно, чем никогда. Меня более не отделяет от реальностей фраза и острота. Ибо — что такое журналист? Человек, заеденный остротой, фразой. Фраза — искусственное построение, пустышка. А острота, фельетон—глупость и пошлость. Это— *глубочайшее мое убеждение... Мне до тошноты на*доело острить...

Я мог бы здесь поставить „Vale“, с „товприветом“ — и конец. Но это было бы...как бы вам сказать? — Это было бы полулицемерие, полуложь. Я скрыл бы от вас полправды... Впрочем, я уже намекнул. У меня было искушение. Сильное искушение. Я чуть-чуть не взялся за перо. Мной овладела тема. По-моему, нужная тема — потому что реальная. Это — о нашем, русском, советском фашизме. Помните, летом мы беседовали с одной старой учительницей, и она говорила нам (у нее такой немного надтреснутый, чуть-чуть с надрывом тембр голоса, — я запомнил, — она, несомненно, человек исстрадавшийся — и потому глубоко, до крови, до мучения искренний)—она говорила нам, что в школе, в детях видит она „там и сям“ (она так выразилась: „там и сям“) ростки фашизма. Меня это тогда поразило. Я принадлежу к числу (точнее к типу) тех „крепких старичков“, которые увлекаются комсомолом... Я был поражен:

— Как?! Фашизм?!

И вот, я все искал. Мне хотелось нащупать. Где же это? Как же это?.. И вот, наконец, я напал на след. Это случилось вот как:

Жестокий московский квартирный кризис выгнал меня—среди зимы—в дачный пригородный поселок. Однажды в хмурый зимний вечер я очутился в вагоне пригородного поезда. Вагон...

Вагон—вообще вагон—это некий фокус, в котором, как солнце в малой капле воды, отражается вся наша Русь, Рассеюшка, Россия, СССР. Тут видите вы ее всю сразу — и необычайно обостренно.

Ничего, друг мой, нет на земле более безнадежно-тоскливого, чем вагон московского пригородного поезда в хмурый морозно-туманный вечер.

Полутьма; густой, с крепкой, терпкой испариной воздух вагонный, свечка мерцает грустно-обиженно в лежалой, мятой вагонной теплыни. Пахнет полушубком и мокрыми валенками.

И в вагоне—подмосковный обыватель... Вот тут-то, в вагоне, я впервые разглядел обывателя.

Обыватель—в тулупе и в валенках,—лицо у него под бараньей шапкой, ушастой, несуразной, — несуразное... Входит он в вагон — хрючит, сморкается, харкает, сопит, пыхтит, отдувается.

— Ох-ох-ох!

В тулупе и в валенках — большой, неуклюжий, тяжелый, топочется, — рукавицы стягивает, дверь закрывает, — все с „охом“, с кряхтеньем, с хрючаньем непрестанным, наростающим. Дверь, конечно, не закрывается сразу, — и по этому поводу еще кряхтенье, еще хрючанье, брюзжанье и сопенье... Потом—оттаивает заиндевевший обыватель,—с бараньего воротника, с клочьев усов и бороды стекают ручейки—и этот жест исконный, древний, который к нам, вероятно, еще с 14 века дошел — *утиранье носа — широким таким, размашистым же*стом (вот где „шири бескрайние, скифские, степные“)—утиранье носа рукавом тулупа... Потом усаживается обыватель. Усаживается тщательно и долго... Когда уселся, кряхтенье и хрючанье сменяется зеваньем. Зеванье протяжное,—с этаким гудом нутряным, — безнадежно-тоскливое...

— Ох-ох-ох-ох...

Крестит рот...

Потом — тоскливая, как могила, пауза, — потом обывательские разговоры...

— Н-да-а-а... Мороз... Какое-то нынче число? 14? По-старому, значит, первое... Н-да-а-а...

Так начинаются все обывательские разговоры — с перевода на старое...

Так предстал передо мной обыватель. Так увидел я его, так воспринял я его — в первый раз в вагоне...

Да, тут еще в вагоне, заметил я—сразу, в первый же раз, две обывателевы характерные особенности.

Во-первых,—основная тема обывателевых тягуче-эпических, пересыпанных кряхтяще-зевотными междометиями, бесед, — бесед-россказней — Сухаревка и карманники. О карманниках говорит обыватель с негодованием, со страхом, — как о злом, коварном, вездесущем, таинственном, невидимом и неуловимом враге, — и с восхищением, как о романтическом герое.

— Ах, сукин сын, язви его горой!

С восторгом.

Поймали карманника, били—до крови, смертным боем.

Об этом тоже с восторгом:

— Ах, сволочи,—вот дубасили, вот дубасили!

Сухаревка — обывателев центр. Сухаревка — это и есть Москва обывателя, — остального не существует. Какие-то там Цупвосо, Экосо, Наркомюст и Наркомпрос, Кремль, Госбанк, мавзолей, Дом Союзов,—этого вовсе нет. Есть только где-то желанная

Иверская и страшная Лубянка. От Сухаревки невидимые нити протянулись в Перловку, Малаховку, Ново-Гиреево, где у обывателя — домик свой, корова, огород...

Вторая характерная черта: злейший враг обывателя — беспризорный. Вражда тут нутряная, истошная, зоологическая, непримиримая; борьба не на живот, а на смерть... Беспризорность тесно связана с железными дорогами,—у беспризорного душа беспокойная, не сидится ему, — все бы ему ехать да ехать. Беспризорные бывают дальние и пригородные... В унылость вечернюю пригородного вагона вносит беспризорный немного свежести. Он поет песни, говорит прибаутки и просит милостыню. У обывателя появляются в глазах зловещие огоньки— огоньки классовой ненависти. Это те самые огоньки, которые в Европе в глазах у лавочника, крепкого, мелкого собственника, — вы помните, Лежнев, мы видели с вами эти самые огоньки классовой ненависти в Берлине в 1923 году, когда там пахло революцией... Это истошная, паническая ненависть человека, у которого — домик, корова и огород — к неимущему. Тут вот, в этой звериной ненависти „имущего" — дом, корову и огород — „к неимущему" ничего—тут вот как раз и начинается контр-революция и фашизм...

Обыватель злобно, шипя, шпыняет беспризорного. Вот—зачатки фашизма.

Но это все — только, так сказать, внешний вид обывателя, — моментальная фотография, что ли. Давайте теперь рассмотрим его чуть-чуть поближе— с экономической и с культурной стороны. Давайте, я познакомлю вас с одним определенным, конкретным — но весьма, весьма типичным — обывателем. Мой квартирный хозяин.

Он — бывший торговый служащий. В „мирное время" служил приказчиком, — прослужил 22 года безупречно. Верой и правдой. Заведывал матрацами, кроватями, лампами, посудой. Копил деньги. Выстроил себе дачу. Уютный домик в стиле модерн, с ватерклозетом. В тревожные годы притаился, затаился,— злобно выжидал. Жевал картошку, приник к земле, пугливо выглядывая из норы, озирался, злобно выжидал. Шипел-выжидал, перепуганный. Когда наступил нэп, встал, выпрямился. Опять заведывал матрацами и лампами. Но недолго, месяц. Прогнали. Почему? Причина тут глубоко-психологическая, непреодолимая: человек, который верой и правдой прослужил хозяину,—жоху-хозяину, жмоту, кулаку,— 22 года, был верен, был предан и в верности и преданности прожил большую половину жизни и домик сколотил, огород и корову, капиталец сколотил на верности и преданности, — такой человек не может, органически не может, служить государству. Я спрашивал его, почему его прогнали? Он ответил:

— Душа у меня болела. Разве они знают, как дело вести...

Я спросил управдел учреждения: почему прогнали? Ответ:

— Потому что на руку нечист. Мне жалко, что я не передал его в ГПУ.

Мне тоже, по человечеству, жалко.

Но не передали. Больше того: он удержал профсоюзный билет.

И вот, живет он теперь двумя жизнями, в двух ипостасях. Утром, в 7 часов, встает, кряхтит, охает, зевает с нутряным гудом, крестится на иконы, — лампады, конечно, неугасимые (отсюда уют сугубый: лампады, герань, канарейка и самовар на столе верещит). Потом — кричит. Тут в голосе у него нотки прямо восхитительные: помещичьи, землевладельческие, — сугубо, подчеркнуто, на 100 процентов владельческие.

— Наташа, почему корова!..

— Юра, почему дрова!.. Что я сказал?!

— Стёпа, живо... Скулы своротчу!

— Ах ты, господи, помилуй...

„Скулы своротчу" и „господи помилуй" — всегда вместе, неразрывно, неотделимо. Вы сами, впрочем, понимаете, что всех владетельных слов я тут выписать не могу. Достаточно сказать, что „Иисус Христос" чередуется с „матерью".

Потом — долгое и смачное чаепитие. Смачность чаепития гармонирует вполне со смачностью, рыхлостью, сдобностью, пышной округлостью, — сном взбиты и взрумянены округлости, — обывателевой жены.

После чаепития вдруг резко меняется тон. Меняется полушубок: вместо новенького щегольского, недавно по случаю купленного, надевается замызганный, с прорехами жалостливыми, старый. Меняются валенки: вместо новых, за которые 15 руб. отдано, надеваются „мирного времени", пережившие эпоху военного коммунизма. И обыватель, вытащив из кармана засаленные профсоюзные и безработные удостоверения, отправляется в город, в профсоюз, на биржу труда, еще куда-то канючить и клянчить. Это делается не только для поддержания пролетарского реномэ и в надежде на безработное пособие (в хозяйстве и пособие пригодится), но и просто из любви к искусству. Вы не представляете себе, Лежнев, какое это тонкое искусство— канючить и клянчить...

Отканючив и отклянчив положенное количество, напившись чаю в чайной, накрестившись вдосталь на все встречные церкви, отправляется хозяин домой, перейдя обратно в первую, владетельную, свою ипостась, не забыв также захватить с собою из города ветчинки, буженинки, копченой рыбки и бутылочку горькой — „на случай гости придут".

Сам он не пьет... Вот еще очень характерная черточка: он не пьет, он — непьющий. Но он не просто непьющий, а навязчиво, агрессивно непьющий. Это один из самых утонченных видов подлости — нарочитая, агрессивная трезвость. Это одно из гнуснейших проявлений исконной российской смердяковщины. Носит человек трезвость свою по улицам, по площадям, по чайным, по базарам, по вертепам,—смотрите, мол. И пусть это будет укоризной всем слабодушным, заблудшим... Этакая мерзкая смердяковская честность!..

В данном случае трезвость — от верности и преданности. Вот,—служил правильно, ни в чем не замечен, ни в чем не замешан, человек я непьющий,— хозяин меня ценил, — даром, что француз — а тоже понимает...

Экономический статус моего квартирного хозяина — вот вам, в виде краткого перечня:

1) Дом,—доход 125 рублей в месяц чистых.
2) Корова.
3) Огород. Большой. Картофель и капуста.
4) Лавка, — бакалейно-колониально-гастрономическо-мясная.

Лавка, чтобы не было расхождения с профсоюзным билетом, — на имя сына. Сын тоже служил, тоже был верен и предан, тоже был уволен, но в отличие от отца (он пошел немножечко дальше) был передан в ГПУ. Отбывая наказание, был в местах не столь отдаленных, профсоюзный свой билет испачкал в конец — и потому пусть он числится лавочником.

Но в связи с лавкой (а лавка весьма и весьма солидная — и к летнему сезону будет еще расширена) — в связи с лавкой открывается одно любопытнейшее обстоятельство. Оказывается, лавка каким-то концом примыкает к науке и искусству...

Да, да! Представьте себе!

Тут появляется на сцену профессор. Профессор, правда, уролог,—но эстет, меломан и поэт. И какой великолепный профессор. Осанка, борода веером, пышная седая шевелюра, благородное пенснэ на благородном носу, величественный лоб и эта благовоспитанная мягкость, — ну, вылитый Михайловский. Этакая утонченнейшая барственность, этакая величественная эстетская небрежность в манерах, в тягучей медлительности речи,—

— Э... э... э, да-а...

О профессоре надо сказать:

Он был еще молод в 1908 г. Он происходит из хорошей богатой семьи. Он читал Пшибышевского, Метерлинка и Бодлэра и немножечко Ницше. На 1908 годе он остановился. По убеждениям он индивидуалист-бунтарь и мистический анархист (впрочем, он недурно зарабатывает на секретных болезнях мужчин и женщин). Дальше Георгия Чулкова ничего не было... Впрочем, нет, — извините, было. Был патриотизм, бей немцев, война до победного конца. За период времени от Арцыбашева и Чулкова до наших дней взбодрился профессор только один раз: когда был в Москве немецкий погром, в 1915 г. Тогда повесил он в своем кабинете портрет царя... В последующие месяцы—в 15 и 16 гг.— он вяло, больше покоряясь моде, поругивал „ее",— царицу,—слушал и пересказывал распутинские анекдоты (что, кстати, недурно гармонировало с секретными болезнями), — потом замер. Поблек и завял. Весною в 1917 году он красного бантика не носил— заметьте себе это,—потому что он презирает чернь. Душа его до краев наполнена гордым, величественным, благородным презрением...

Вы, Лежнев, в своей статье „Госшапка", в первом номере вашего журнала, коснулись вскользь этого интеллигента. Так вот, он как раз этот самый, — только усугубленный, углубленный, — махровейший. Этот одинокий эстет с его великолепным презрением.

Я задал хозяину моему такой вопрос:

— Вот, вы говорите, что вы — безработный...

— Конечно, безработный, — настороженно-подозрительно сверкнув глазами, — испугался: я покушаюсь на это его звание, которым он так дорожит.

— Откуда же у вас лавка?

В ответ он показал мне... альбом со стихами. Изящнейший альбом с изящнейшими стихами. Конечно, — вы сами понимаете, — стихи эти сплошь анти-революционные, контр-революционные.

— Вот, добрый человек помог...

У профессора добрая душа, немножко денег, кое-какие связи в частно-торговом мире (связи через секретные болезни) и влечение—род недуга—к безработному кулаку...

Вы скажете,—я знаю:

— Ну это уже не типично. Это частный случай. Это случайность, исключение.

Я тоже так думал — вначале. Но когда я вошел в этот мирок, когда я вгляделся, я понял, я увидел воочию, что это далеко не случайно. Это профессорско-лавочническое сродство душ—оно на крепкой психологической базе. Поймите: общее профессорско-лавочническое презрение. И экономическая база, конечно, тоже есть, — если вдуматься. И что профессор нашел лавочника и прилепился к нему, и стихи ему посвящает, — и что лавочник нутром чувствует профессора и верит ему—все это далеко не случайно. Это—смычка кулака с известного рода „интеллигентом". Эта смычка е с т ь, существует, не как случайность, а как вполне определенное общественное явление. Профессор явился на сцену не по прихоти какой-нибудь необъяснимой, а в высшей степени закономерно.

Я, Лежнев, как вы знаете, человек чужестранный, заграничный (это — личная моя трагедия, я не знаю России—и это, кстати, одна из причин моего „ухода"). Я не знаю русской деревни. Я никогда не видал в лицо настоящего мужика. Кулака я знаю только по газетам,—кулака глубинного, из недр,—недряного, дебряного — из глубоких, дремучих дебрей крестьянских. Я знаю только Москву и Ленинград... Но вот, через кулака пригородного, подмосковного, полудеревенского-полугородского заглянул я в кулацкую стихию—и на меня пахнуло жутью. Вот она, стихия!.. Я не склонен к преувеличениям, я в полной мере сохраняю чувство меры. Но вот что я хочу сказать:

Я хожу по улицам Москвы. Я и прежде всегда ходил,—я люблю улицу. Но прежде я видел: совслужащего с портфелем, даму петровско-пассажную в котиковом манто, эту убого-московскую, нелепо-бессильно-смешную иммитацию „парижского шика", комсомольца, пламенеющего в учебе, степенного рабочего и того же степенного, колобродящего в пьяном виде, обветренное, с вздернутым носиком и задорной улыбкой лицо девичье под красным платочком,—все это знакомое и понятное. А теперь вижу я еще кулака, который на первый взгляд непосвященному человеку покажется только обывателем, — человека этого пригородно-подмосковного в полушубке, в валенках, крепкого этого, с затаенной злобой в корявой, дубленой, угловато-жилистой душе,—он крепок и нажимист,—он облепил со всех сторон Москву советскую...

О юридическо-бытовых взаимоотношениях моего квартирного хозяина со мной надо сказать следующее:

Произошло недоразумение. Наружность, знаете, обманчива. Комплекция моя, борода и очки обманули его. Он счел меня за „коммерсанта“. Поэтому он принял меня с распростертыми объятиями. Потом однажды в моем отсутствии были рассмотрены некоторые бумаги в ящиках моего стола и была обнаружена сугубая моя приверженность к советизму и коммунизму. Тогда сразу отношение переменилось,—тон стал сухой, резкий, отрезывающий, лающий. Я стал натыкаться на каждом шагу на категорическое и предостерегающее „нет“. В этом „нет“ слышится:

— Погодите!

Началось систематическое, беспрестанное, изо дня в день, из часа в час, из минуты в минуту, отравление моего существования. Рассказывать подробно—скучно. Воды нет, кран сломан, молоко, знаете, все продано, для вас не осталось, пожалуйста, не приводите гостей... и т. д., и т. д. Миллионы мелочей,—все это раздражает, нервирует, выводит из себя... Я еду домой со службы—я знаю, дома ждет неприятность...

Однажды я позвал хозяина и сказал ему:

— Мы живем, вы знаете, в стране, где есть закон, суд, милиция и где не очень жалуют кулаков.

Он ответил с преувеличенным, подчеркнутым спокойствием.

— Конечно, что и говорить,—суд у нас есть... А скажите, вы в поселке видели хоть одного милицейского... Нас этим не запугаешь... Мы, ведь, тоже...

А потом было мне осторожненько дано понять, что:

1) У хозяина моего пять здоровых сыновей.

2) Переулки в поселке темные, ночи стоят как раз безлунные.

3) Мы, ведь, тоже, как бы это сказать?—организованы. Никто не выдаст.

4) Такой случай уже был. Ходит человек искалеченный, изувеченный—и ничего. Три раза в суд подавал. А мы, смотрите, в тюрьме не сидим и штрафа не платим.

Через три дня после того, как мне это дано было понять, была у нас свадьба. Женил хозяин сына—лавочника. Ходит девушка брюхатая, пятый месяц—женить надо... Приехали повар и тапер. Мыли, скребли, пекли пироги. Ползали по полу с подоткнутыми подолами голенастые бабы. Двери все раскрыты—комнаты от этого стали гулкие—и из конца в конец по всему дому несется—гулко, звонко:

— Мать... Господи Иисусе... Мать...

Ехали в церковь, приехали,—было все, все как полагается. Кричали „горько“, кричали „ура“, пили, была пьяная драка, был оголтелый скандал, били посуду. Слово „блядь“ прозвучало—и прозвучало неизгладимо-памятно — дважды: в самом начале и в самом конце. В самом начале кто-то из гостей,—наклюкался еще „до“, назвал блядью при всех хозяйскую замужнюю дочку,—двадцатидвухлетнюю грудастую, бедрастую пышно-румяную молодку. Этим он, повидимому, хотел намекнуть на то, что она изменяет своему мужу. Она обиделась, ушла в темную спальню и всю ночь плакала, сморкалась, харкала, хрякала. Пришел муж уговаривать ее:

— Ну, что ты! Сказал и сказал,—ишь, недотрога! Идем!..

Она взвизгнула:

— Уходи!

Он ушел—и забыл.

В самом конце, когда уже тапер играл марши „Тоску по родине“ и „На Сопках Манчжурии“, в той же темной комнате, где плакала обиженная, сын хозяина,—не жених, другой,—пытался изнасиловать подругу невесты. Она визжала. Он смачно, с большим чувством, размашисто плюнул ей в лицо и сказал шопотом,—как будто хлестнул бичом в лицо:

— Блядь.

Вчера я встретил их на станции,—гуляли об руку.

Но я отвлекся от темы... После скандала, после маршей, когда уже дом наполнился горячей вонью, шла беседа, громкая, с грозным сжиманием кулаков:

— Н-да-а... Судом вздумал пугать... Мы ему покажем...

Сотни вариаций, все на эту же тему.

Я сидел у себя наверху на кровати, положив около себя, на всякий случай, заряженный револьвер. Мне было грустно. Был прекрасный, неописуемый, весенний рассвет...

Особого сугубого внимания заслуживают обывателевы, кулачьи дети, сыновья и дочери—подрастающее поколение. Это — анти-комсомольская сила—совершенно определенно.

С младшим возрастом, с пионерским возрастом, я столкнулся в первый же вечер, как только приехал, как только вышел на вольный свет из затхлого пригородного вагона. Было туманно, в тумане мерцали жирно-желто фонари,—не успел я приглядеться, как ухо мое уловило шипящее:

— Жид.

Много, много лет уже не слышал я этого слова. Оно напомнило мне далекое детство, гимназию... Мое ухо, как и ваше, вероятно, болезненно-восприимчиво к этому слову. Мое детство протекло в „черте“...

Я шел по платформе, трое мальчишек на коньках бежали за мною, шипя.

— Жид... Жид...

Так надоедно-однообразно с короткими паузами... Впоследствии выяснилось, что один из этих мальчишек—младший сын моего хозяина.

С комсомольским возрастом я познакомился на другой день утром. Я отправился на службу. На станции, на платформе, в толпе, ожидающей поезда, внимание мое привлекли молодой человек и девушка. *В них не было ничего необыкновенного, ничего* заслуживающего особого внимания. Но они были несовсем обычные. Комсомольца и комсомолку я отличу в самой большой толпе. Некоторая этакая залихватская небрежность—и непременно книжка: политграмота, хрестоматия по ленинизму—С. Пионтковский, учебник марксизма. Тоненькая, наспех, при помощи клея и ножниц сделанная книжечка, в которой сгустки мудрости для быстрого, спешного вразумления...

Опять сошел с темы...

Так вот,—этот молодой человек и эта девушка были явно н е-комсомольцы. Даже больше: подчер-

кнуто не-комсомольцы. Молодой человек был прыщеватый, но тщательно выбритый; на голове его сидела аккуратненько, ровненько модная, на Петровке купленная клетчатая серая кепочка,—и совершенно явственно видно было, что кепочка была надета на голову тщательно перед зеркалом. Не менее тщательно завязано было розово-малиновое кашнэ. Вычищено пальтецо—потертое, правда, старое... Штаны—клеш, ботинки—шимми... Все вместе—не то, что щегольство, а претензии на модность и на шик. Барышня была тоже вся в претензиях: пудра, губпомада, правда, в платочке, но в модной шубке,—и я успел заметить: ногти обманикюрены и лаком покрыты, а под ногтями одновременно черные каемочки грязи, „траур". Вот оно, подумал я, пригородное, деревенско-городское — каемочки грязевые от деревни, маникюр от города, от Петровки и Кузнецкого. Чем не смычка!..

И еще заметил я: в барышне,—в фигуре, в манере, в походке, в лице, в глазах, есть уже эта типично-московская манерность-жеманность,— наигранная такая взвинченность,— вы видите это на Петровке, на Кузнецком...

Я сел в вагон с ними рядышком, чтобы подслушать разговор. Мне хотелось разгадать социальную породу этих людей.

Вот разговор:

Он.—Шикарно! Шикарно! Как она была одета! Как танцовала!..

Это—о Татьяне Бах,—опереточной примадонне.

Она.—А в воскресенье „Марица".

Он.—Я „Марицу" видел три раза. Шикарно!

Это слово мелькало чаще других—„шикарно"... Шикарная женщина!.. Шикарно танцует... Шикарно одета...

Я не буду излагать всего разговора. Но вот основные темы: оперетта, цыганские романсы, ухаживает,—Ярон танцовал с Лазаревой шимми... Потом—о разных видах шимми...

— А вы будете у нас в воскресенье? У нас танцуют. (Это—он.)

— Нет (она). Я еду в город, в церковь, к обедне.

Далее из разговора выяснилось, что они оба берут уроки модных бальных танцев в городе на Сретенке, у учителя какого-то. Два раза в неделю. Там шикарно, бывают шикарные женщины... Еще далее выяснилось, что в нашем поселке, Пролетарской волости, есть, кроме комсомольского клуба, где „ребята", „девчата", „учеба" „шамовка"—и все прочее комсомольское,—есть еще и другой клуб—тайный... Впрочем, нет,—вовсе не тайный. Просто не зарегистрированный. Импровизированный. Собираются у кого-нибудь. Играют в лото,—с азартом. Играют в шмен-де-фер. На пианино играют и хором поют:

> Слышу звон бубенцов издале-о-ок-а-а-а...
> Это тро-о-ойки знакомый напев...

Бубенцы и тройка—основа романтики.

В этом клубе не „ребята" и „девчата", а—господа, мосье, барышни... И блядь...

Когда вышли из вагона, на Ярославском вокзале, к молодому человеку подошли два точь в точь таких же прилизанных в стиле Петровки и отозвали его в уголок—пошептаться. Барышня ушла в сторону. Я подслушал шопот:

—... Польские... Без шва...

— Сколько?

— По четыре пятьдесят.

— Беру.

И мелькнуло—желто-лимонное—из рук в руки, спешно засунуто в карман. Шелковые чулки.

Шелковые чулки,—это как некогда у дикарей были звериные шкуры, скот, деньги. В этом „шикарном" обиходе шелковые чулки играют выдающуюся роль,—они чуть ли не в центре всего...

Я узнал потом, что молодой этот человек—сын соседа нашего,—тоже владельца дома, коровы и огорода,—служит конторщиком в Управлении Северной железной дороги. Когда меня будут изувечивать в темном переулке в безлунную ночь, он будет принимать в этом участие,—несомненно.

Два сына моего хозяина так непохожи друг на друга. Старший, лавочник, которого недавно женили, груб, прям, прост. Он ругает советскую власть, а когда надо, молчит. Читает каждое утро „Рабочую Газету" и издевается над ней. Он, конечно, не верит газете. Он, конечно, умнее газеты: она хочет его обмануть, а он не верит,—его не обманешь... Но кое-чему он верит. У него есть свой какой-то внутренний критерий. Например, что Чичерин ездил за границу, и там его принимали министры—это, конечно, враки. Завтрак у Гинденбурга,—как бы не так. Это пусть они кого хотят обманывают, а мы... мы знаем!.. Но вот, что на макаронной фабрике Моссельпрома задержана зарплата—это да, это правда. Ну, и дураки рабочие!..

Этот старший сын—человек цельный, здоровая натура. Он не задумывается, он тверд, он верит в будущее. Уйдет советская власть или не уйдет—все равно, так ли, сяк ли,—нам унывать не приходится...

Младший сын (тот, что покушался на изнасилование) — у него интеллигентско-земская бородка и этакие многозначительные умолчания.

— Н-да... Гм...

Как-будто что-то он знает, только не скажет.

Он читает книги. Он—безработный, делать ему нечего, лежит на кровати, читает. Что он читает? Дюма-отца и сына—всего прочел. „Проститутка"—интересный роман. „Моника Лербье"... Книги берет он у профессора. У профессора большая библиотека, все приложения к „Ниве"... Старший, лавочник, относится с презрением к чтению книг. По его взглядам, чтение—слабодушие и изнеженность, книги читать—все равно, что, скажем, бабиться, с девкой мармеладничать,—с девкой что мармеладничать!...

Под влиянием профессора, профессорских разговоров, наставлений, а также под влиянием „Проститутки" и „Моники Лербье" выработался из младшего, книгочитателя, тип „идейного мерзавца". Это не я сказал, это он сам сказал—„идейный мерзавец". Эстетический индивидуализм и мистический анархизм, преломившись сквозь его сознание, сквозь его душу, упростились до крайности, превратились в простую, но осознанную подлость. Он подлец

и знает, что подлец,—и даже немножечко гордится этим... У него подведена под подлость идеологическая база. Он—мотивированный подлец.

У меня с ним было несколько мимолетных, отрывочных диалогов. Первое знакомство было такое:

— Хотите, я вам анекдот расскажу самоновейший, только что слышал.

— Ну?

— Девочку спрашивают: где твой папа? Она отвечает: лежит на диване с проституткой.

— ?!

— Ну, с „Проституткой“,—книга такая есть,—лежит и читает...

Я вспылил.

— Пожалуйста, не рассказывайте мне таких анекдотов и убирайтесь из моей комнаты.

Он рассмеялся благодушно.

Другой диалог:

— Вот, испортить девочку, бросить брюхатую,—считается—мерзость, а по-моему...

Философия этого человека с интеллигентской бородкой:

— Все можно. Мораль—для старых дев.

Общая формула всей этики:

— Начхать!..

А дальнейшее развитие этой формулы:

— Раздавим мерзавчика, что ли?..

Лежа на диване с книгой, после раздавленного мерзавчика, грызть нагло соленый огурец.

Однажды заговорил он со мною о политике:

— Я не против советской власти... Конечно, лучше бы всего—убрать их...

Щелк языком—с упоением.

И, подумав немного, помолчав, высказал он мне заветную мечту свою:

— Я одного не могу простить себе: почему я не бывший офицер.

Я подумал:

— Не офицер—жандарм...

— Но... убрать, вероятно, не придется... произойдет перерождение...

Это меня заинтересовало.

— Перерождение?! Как же?

— Национальная идея победит...

Я спросил его, читал ли он Устрялова. Нет, не читал. Это какой Устрялов? Нет, не слышал даже...

Просто—совпадение.

— Какая же национальная идея?

— Российская государственность...

Он запнулся,—дальше уже, конечно, для него трудно, умишко не охватывает... Но интересна эта хаотическая смесь собственных каких-то темных „движений души“ и чужих чьих-то превыспренного - сменовеховско - устряловско - славянофильских фраз. Этот кулацкий сын коснулся „интеллигенции“...

Пауза...

— Послушайте,—это вкрадчиво, мягким шопотом,—послушайте... я, конечно, не хочу вас оскорбить, но... я человек откровенный... Нельзя было, не надо было евреям прикасаться к русской общественности...

Пауза.

— И если будут последствия, то они сами будут виноваты...

Я молчу. Что мне сказать? У меня мелькает в уме:

— Ведь надо позвонить в ГПУ...

Но что я скажу в ГПУ?.. Мне нечего сказать в ГПУ—а между тем я чувствую, что попал в какое-то кольцо, и вот кольцо сжимается, сдавливает, сдавливает... Впрочем, может быть, я преувеличиваю...

Ну, Лежнев, время позднее, я разболтался... Мне все-таки кажется, что тема интересная. Я ее не продумал, я ее не охватил, у меня только случайные, разрозненные наблюдения. Но ведь этот мальчик пионерского возраста, который кричал „жид“,—ведь, он в школе учится—и я теперь понимаю старую учительницу... Это—пригород, а окраина города? Это—лавочник, а ремесленник, кустарь-одиночка?.. Я не хочу сказать: опасность,—нет, конечно,—это слишком сильное слово. И на вопрос: есть ли у нас фашизм?—я отвечаю безусловно отрицательно. Нет, фашизма, как такового, у нас нет (может быть, в дебрях, в глубине, где убивают селькоров, он есть). Но есть явления, в которых заложена возможность фашизма...

До свиданья, Лежнев... Уже 11 часов. Снизу доносится шип:

— Ишь, расстучался... Будет вам стучать на машинке...

Пауза—и остреньким шипом:

— Жид.

Пауза. Тяжелая, жуткая пауза. И еще острее шопот:

— Большевик...

Спокойной ночи!..

Ваш Старик.

У ОКНА ВАГОНА.

Н. УСТРЯЛОВ.

(Окончание [1]).

Ну, а теперь о людях „нашего круга" в Москве. Разыскал многих, наговорился вдоволь. Конечно, легче всего было вникнуть в настроения именно интеллигенции, спецовских кругов, также „попутчиков".

Среди этих последних, естественно, интересовался сменовеховцами. Хотелось ближе узнать западный сменовехизм, с которым моя литературная деятельность была связана, особенно вначале, рядом нитей: меня ведь тоже называют сменовеховцем.

Как и опасался, впечатление весьма плачевное. Познакомился непосредственно и очень обстоятельно с историей течения, его внутренними пружинами и внешними проявлениями, его эволюцией, похожей на вырождение. Печальная, нескладная картина. Несомненно, вначале перспективы сменовехизма были достаточно благоприятны и почва для него достаточно благодарна. Пражский сборник всерьез всколыхнул эмиграцию, довольно шумно отозвался и в России. С ним считались, он имел успех. Он обретал уже широкий базис. Но руководящая группа так поспешно и несолидно „соскользнула влево", так безотрадно утратила самостоятельный облик, что скоро до тла растеряла всякое влияние в интеллигентских кругах и всякое внимание со стороны самой советской власти. „Лидеры" не оказались на уровне „возможностей"; они, очевидно, осуществятся помимо своих неудачливых идеологов. Сменовеховцы, превратясь в накануновцев, стали к о м м у н о и д а м и: этот выразительный термин я слышал в Москве и от спецов, и от коммунистов. И те, и другие произносили его с несколько презрительной иронией.

Конечно, я этим отнюдь не хочу сказать, что отдельные представители западного сменовехизма персонально утратили право на уважение. Совсем нет. Я говорю о движении в его целом.

Вместе с тем, я убежден, что объективно исторически и коммуноиды тоже имеют свой смысл, своей мимикрией приносят пользу. „Страсти индивидуумов" удачно используются логикой истории. Каждому свое. В процессе обмирщения коммунизма— как же обойтись без коммуноидов...

Но довольно о них: dixi et animum levavi. Среди других попутчиков, успел прикоснуться к среде литераторов-беллетристов. Если угодно, тоже некоторым образом коммуноиды. Только у них это выходит как-то проще, естественнее, безобиднее. Ведь они же не политики, не идеологи. „Сочувствуют революции", занимаются „целевой" литературой, фиксируют момент. Сейчас, по причине деревенской ориентации, особый спрос на деревенские темы. Пишут, потрафляют смычке. Дети рафинированного декаданса, уже раз настраивавшие свои лиры на рабочий лад, теперь они их перестраивают на мужичий. Но и это, в общем, не вредит; напротив, разнообразят технику, расширяют кругозор, приближаются к быту. Пригодится: одновременно пишут кое-что и „для души".

Хорошо работает и литературная молодежь. По-прежнему стиль—богемный. Одни флиртуют с революцией, другие и всерьез в нее влюблены кипучей юношеской любовью, третьи норовят вступить с ней в брак по расчету. Влюбленные дуются на нэп, ревнуют к нему революцию и жеманно повторяют за Асеевым:

> Как я стану твоим поэтом,
> Коммунизма племя,
> Если крашено рыжим цветом,
> А не красным, время!!.

Шумят и плодятся мелкие распри маленьких литературных школок. По большей части, оспаривают друг у друга право на революционность, на новаторство, на „антимещанство". В этой насыщенной атмосфере формируются и зреют некоторые бесспорные таланты. Созреют—и сбросят „школьничество", как детскую рубашку. Кое-кто из них уже и сбрасывает ее: взять хотя бы Есенина...

Словом, жизнь кипит. Нельзя отрицать, что кризис жизни дал литературе мощный импульс. Долго она будет переваривать переворот. Ясно при этом, что реально, объективно осознать революцию удастся не революционной, а пореволюционной литературе. Вероятно, она уже зарождается, вынашивается теперь в подсознательных интуициях попутчиков, да и не только попутчиков.

Теперь об „интеллигенции просто". Она много забыла и многому научилась. Она стала „служилой", спецовской по преимуществу. Служит за совесть, „лойяльно" „сотрудничество" уже давно перестало быть проблемой.

Но, служа, отнюдь не умирает духовно. Она интенсивно живет, размышляет, наблюдает, проделывает большую работу мысли. Только эта работа не воплощается в журналы, газеты, мало объективируется во вне:

— Но зато в сердцах пишутся томы!..

Невольно вспоминаются тридцатые и сороковые годы прошлого века. Как и тогда, общественное сознание ушло в маленькие домашние кружки, где за чаем ведутся долгие беседы о сегодняшнем дне, о завтрашнем, о будущем России, о русской культуре, о Европе, американизме и т. д. И за этими беседами услышишь и вдумчивые анализы, и полеты изящной фантазии, и философию пережитого, и зачатки каких-то грядущих идеологий. Духовный облик интеллигенции стал гораздо содержательнее, глубже, интереснее.

На поверхности—официальные каноны и догматы революции. Диктатура этих догматов и канонов. Так нужно. К ним привыкли, их не оспаривают и

[1]) См. № 2 журн. „Новая Россия".

в служебные часы они автоматически приемлются к руководству.

Но, разумеется, они не могут загасить исканий, устранить сомнений, пересечь рефлексию. Однообразие утомляет. Повсюду, даже и в нетренированных мозгах, подчас рождается потребность обойти догмат, „своим глупым разумом пожить". Сами каноны для своего вящшего торжества временами жаждут критики: не отсюда ли и периодические диспуты советских златоустов с опытно-показательными „идеалистами", священниками, буржуями?..

Вне служебных часов, вечерком, за чаем, когда нет принудительных норм мысли и предуказанных форм слова,—так хорошо, плодотворно беседуется. Проверяешь себя, многое уясняется, многое передумывается, раскрывается, углубляется. Так и живут „двойной жизнью".

Старая интеллигенция переродилась: „интеллигентщина" в ней приказала долго жить. По-иному воспринимает она окружающее. Совсем иной стиль. Только раз или два в беседах пахнуло на меня былым радикализмом, благочестием „Русских Ведомостей". Но это уже нечто ископаемое даже и среди откровенных, подспудных „зачайных" собеседований...

Не без юмора вспоминают об Иване Александровиче Ильине, до самой своей высылки не покидавшем позы обличителя и пророка:

— Нельзя же вечно обличать. Нельзя же вечно произносить Rede an die russische Nation. Под конец он стал всем несносен, несмотря на свои таланты и достоинства. Все от него устали. И, грешным делом, облегченно вздохнули, сердечно распрощавшись с ним на вокзале: после его отъезда куда легче и проще стало...

Это признание одного из очень известных московских интеллигентов—прекрасный психологический документ. Догмат „непримиримости" в русских условиях стал фальшивым и бессмысленным уже в 21 году. Его можно было спасать лишь своеобразным моральным гипнозом, психическим насилием. И он прочно перекочевал за границу, где нетрудно разгуливать на пустейших обличительских ходулях и хранить белоснежными ризы андерсеновского короля.

Конечно, насчет „гражданских свобод" и посейчас в России дело обстоит более чем скромно. Но ведь на то—сложные исторические причины. Их не изжить напыщенной проповедью. Это понимает квалифицированная интеллигенция, умудренная опытом протекших лет.

Не будем замалчивать факта: она переносит нынешний режим не без душевных страданий. Особенно ей трудно без свободы слова. Можно и должно сочувствовать этим страданиям. Но нужно согласиться: они осмысленны и... в известной мере заслужены. Они посланы для уразумения и исправления.

У Макса Штирнера есть один циничный, но меткий афоризм:

— Предоставьте овцам свободу слова: все равно, они будут только блеять.

Слишком долго наша интеллигенция исповедывала и проповедывала „оппозицию, как мировоззрение", чтобы не пришла Немезида. Видно, слишком уж односторонне и однообразно пользовалась она своей относительной свободой, раз история подшутила над ней такую неслыханно злую шутку. „Довольно-де блеять о высшей политике". Пусть, мол, теперь статистики вместо того, чтобы свободно обличать язвы существующего строя, прилежнее займутся подсчетом цифр для Госплана. Тут у них полная свобода слова устного и печатного.

Это цинично!—Пожалуй. Это должно быть и будет изжито?—Разумеется. Но не будем прикрашивать уроков жизни, чтобы не заслужить от нее еще более обидных предметных уроков. Разве не поучительно видеть ныне какого-либо знакомого забияку из „политической оппозиции" за кропотливой и мирной работой в госучреждении, кооперации, банке? Его уже почти и не узнать: стал куда деловитей, обстоятельней, толковее. И, главное, скромнее. Необходимо было коренным образом переломить старорежимную интеллигентскую психологию с ее „политическим монодеизмом" („Вехи"). Дело большое, для него требуется время. И сильные средства.

Конечно, некоторые индивидуальные жизни коверкаются в этом суровом и сложном процессе:

„Я могу быть хорошим приват-доцентом, а меня заставляют быть плохим делопроизводителем"— с горькой иронией говорил мне один из умных и милых моих друзей по университету.

Он прав. Но кто же виноват, что нас с ним угораздило не во-время уродиться русскими приват-доцентами права?.. Мир не увидит пары или двух пар лишних диссертаций о Бенжамене Констане, Спинозе или праве veto в западных конституциях, но зато узрел одного посредственного делопроизводителя госучреждения в Москве и одного посредственного работника на транспорте в Маньчжурии. Потерял ли он что-либо от того?.. Для нас двоих, быть может, это и потеря, но все же не будем чересчур насиловать перспективу. Всякое время имеет свою логику. Попробуем понять ее и смириться перед ее смыслом. Тем более, что, готовясь к несостоявшимся диссертациям, мы успели-таки в умных книгах вычитать один неплохой философский девиз:

— Amor fati...

7 августа 1925 года.

Иркутск. Сейчас трогаемся дальше. Сижу у окна один:—француз остался в Иркутске. Сердечно простились.

Вокзал. Сколько воспоминаний!.. Уличный бой... „На посту" до последней минуты—с погасшей верой, ясным сознанием обреченности... Падение, бесславное, чадное, безнадежное... Нелегальное положение... Бегство... Вот тут же ехал в спасительном „бесте"—дабы в безопасности свободно крикнуть о „примирении":

Божий Бич—приветствую тебя!..

Едем. Вид на город. Красив, есть что-то от Москвы даже. Собор: темный с малиновым отливом. Ангара. Низко стелется рваная вата облаков...

Город позади. Островки, покрытые зеленью и многоточиями желтеньких цветов. Стальная прозрачная вода; видны мхи и камни дна... Группка солдат

с пулеметом. Бравая выправка. Еще... Маневры, что ли? Долой милитаризм, — да здравствует „военизация"!..

Это есть наш последний
И решительный бой...

Впереди—темный силуэт горы, разрезанный светлым, белесоватым облачком. Туман над водой. Поселок. Водокачка, станция: Михалево (9 ч. 15 м. утра).

Дальше. Суровый, угрюмый даже пейзаж. Все серо, пасмурно. Сера река, сер туманный воздух, серы облака, зелень и та подернута серою пеленою. Низко ползут облака, сливаясь вон там с кусками туманов... Запах свежего сена... Сторожка... Лес, лес... Змеей извивается поезд... Фабричная труба с дымком, рядом церковка маленькая ютится... Рукава, островки... Дождь... Словно дымовая завеса... Белая, молочная мгла,—Ангара во мгле, „Россия во мгле"...

На фоне хвойной горы два яруса туманов... Ширь... Вода, вода. Конец Ангары.

Байкал. Останавливаемся. Станция (10 ч. 20 м.).

Разумеется, купил хариуса копченого. Все, как прежде. Продают весело, покупают тоже. Кажется, весь поезд—у окон. Трудно сегодня будет отвлечься от окна.

Байкал. Прекрасен. Прекрасен и такой, серый, свинцовый. Направо, впрочем, на небе голубые клочки... Там и тут—огромные, сероватые чайки. Вдали не видать линии горизонта,—вода сливается с небом. Тихо на воде, гладь.

Славное море, священный Байкал...

Помню, ехал здесь с Таскиным в конце ноября 19 года из омского Иркутска в семеновскую Читу. Тогда были дни зенита ее „величия". Обняв Восходящее солнце, с улыбкой снисходительного презрения смотрела она на бьющийся в предсмертной агонии Иркутск, на поезд „Буки" (поезд Колчака), заброшенный в снежных сибирских пространствах: „сами, мол, виноваты"...

...Тоннель. Зажглось электричество. Дым. Закрываю окно. Опять вышли на свет.

И так о Таскине: он-то первый и сказал мне песню о Байкале. Любопытный, занятный человек, с хитрецой; член Гос. Думы, кадет. Тогда был левой рукою Семенова (правой не без основания считался ген. Афанасьев). Ехал с ним в его вагоне.

Беседовали дорогою. Все, помню, ругал он омское правительство, умиравшее тогда в иркутском отеле „Модерн". Пепеляев вызывал его из атаманской Читы „для контакта" и даже предлагал ему какой-то из второсортных министерских портфелей. Уж и поизносились они все там к этому времени!

— Я им, видите ли, понадобился для затычки! Ну, нет, спасибо, не на таковского напали. Я ему, Виктору, прямо сказал:—как бежать-то будешь, уж так и быть, милости прошу, комнатка найдется (они на „ты" еще с времен Думы, когда оба, сибирские депутаты, вместе жили). Тоже, подумаешь, ми-ни-стры!.. Бегают по Модерну из комнаты в комнату, флиртуют с эсерами и воображают, что это и есть государственное дело! Нет, у нас в Чите не то. Совсем не то...

Верил в свою Читу, в атамана, в броневики, а пуще всего, конечно, в японцев: „Не беспокойтесь, в Чите большевиков не будет". Трудно теперь сказать, кто был наивнее и смешнее,—комнатные ли министры Модерна, или их критик, шустрый губернатор семеновского Забайкалья. Все хороши, все одинаковы!..

...Какой длинный тоннель! Напоминает дорогу по северо-западному берегу Италии: тоннели—и море, электричество—и яркая голубизна солнечной бирюзы... Разгуливается. Наверху голубеет, но над водою туман. Туман в оправе гор...

...Молочная пелена закрыла все озеро: словно халат из тумана. Виден лишь берег у поезда, камешки, одетые в зеленую тину, и пахнет водою. Небо на земле, небо в воде...

...Смотришь и думаешь, и бегут, как пейзажи, мысли, и летают сны. О, rus! О, Русь!..

Да, когда спросят в Харбине о впечатлениях Москвы и России,—что сказать? Единственно напомнить им:

Умом России не понять,
Аршином общим не измерить,
У ней особенная стать...

Как поразительно ново и свежо звучит этот старый стих в отношении к нынешней России, насквозь пронизанной иррациональной стихией, одержимой некими демонами, витающими между добром и злом. Порыв, élan vitae в бергсоновском смысле. Чудо. Страна словно сразу сорвалась с исторической оси и обретает новое равновесие в каком-то новом историческом плане. Отсюда—творческий тонус жизни, и впереди великая неизвестность, „великая судьба или великое падение". Ведь сломаны старые мерки, и, пока новые еще только устанавливаются,—звучит критический тезис диалектики Гераклита:

Путь вверх и путь вниз—одно.

Лишь потом, когда завершится процесс переплавки старого в новое, можно будет произвести точный отбор „добра" и „зла" в этом процессе. Но теперь добро и зло так тесно в нем перемешаны, что, кажется, каждое его звено соткано из их своеобразного сплава. И мы можем больше чувствовать, предощущать, нежели знать,—где добро и где зло.

Отсюда и безумие, коего много теперь повсюду на Руси. Есть много безумия, есть много и просто бессмыслицы: эти понятия надо различать. Верится („можно только верить"), что это—вещее безумие, „мудрость перед Господом".

Хочется себя одернуть: друг Аркадий, не говори красиво. Но, читатель, проезжай по Байкалу: я уверен, ты тоже „заговоришь красиво". Виноват Байкал, а не я и не ты. Виновата Россия. Прислушайтесь к ней—и здесь, и в Москве. Но только—глубже ухо, ухо к земле!.. Слюдянка (2 ч. дня).

...Синеет Байкал, синеют горы. У берегов вода зеленая—от зеленого дна. Рассеялся туман...

— И ясно видит око,
Как труден горный путь и как еще далеко
Далеко все, что грезилося мне...

Ничего... „Конкретный идеализм"... Трудно—да... Всем трудно... Но туман-то все-таки рассеялся ж...

...Солнце, голубое небо, синий, похожий на море

Байкал. Свежий воздух, полный воды и зелени. Как тут не „рявкнуть осанны“, даже если и труден горный путь!.. Все прекрасное трудно.

...Одно ясно: из интернационалистской революции Россия выйдет национально выросшей, страной крепчайшего национального самосознания. Октябрь с каждым годом национализируется; нужно будет публицистически это выразить формулой:

„Национализация Октября“.

Она происходит независимо от того, в какие экономические формы выльется хозяйство страны; независимо также и от того, в какой степени разовьется наш федерализм. Отрадны теперешние успехи государственной промышленности. Быть может, и удастся всерьез задержаться на гибридных, государственно-капиталистических позициях. Если удастся, тем самым будет обеспечен прекрасный фермент государственного централизма, великий национализирующий стимул. Равным образом, мощная, индивидуализированная государственность, конечно, вполне мыслима и в правовой рамке федерации (сводящейся, главным образом, к так называемой „культурной автономии“). А нынешняя обособленность Советского Союза от остального мира есть, несомненно, в свою очередь, исключительной силы национализирующий фактор. До времени он чрезвычайно ценен; его действие будет глубоко плодотворно. Как это уже явственно чувствуется в теперешней Москве, в беседах со спецами, с партийными хозяйственниками!.. Вместе с тем, чем интернационалистичнее тенденции советского правительства, тем они специфически национальнее и тем обособленнее положение Союза в мире. „Федора странница—всему миру печальница“: но это характеризует лишь ее саму, выделяя ее среди остальных.

Поймем же себя! Будем же собой!..

(3 часа. Отрываюсь от бумаги).

...Уж скоро семь часов, а Байкал все еще перед глазами, тихий, величественный, в голубоватой дымке. Проехали Мысовую. Ясное вечернее солнце, сверкающей дорогой отражающееся в воде. Горы противоположного берега—в мягкой, лиловатой вуали. Тихо. Удачно, что пришлось увидеть и в облаках, пасмурным, и в ясный, солнечный вечер.

Последние дни в России. Жалко расставаться с нею, и еще, и еще раз всем существом ощущается пустота жизни без нее и вне ее. Лучше от всего отречься—от свободы, от „политики“, от науки,—но только не порывать с родной землей, которую не унесешь с собой на подошве башмака... Да, это так, это для меня психологическая аксиома, иным я быть не могу и не буду. Есть такие аксиомы души, которые „даны“ до всяческих этических оценок:

Да, и такой моя Россия,
Ты всех краев дороже мне!..

8 августа 1925 года.

Яблоновый хребет. Сегодня среди дня уже Чита, пересадка. Надо торопиться. Многое бы хотелось еще записать.

Приближаясь к Москве, признаюсь, я испытывал волнение: как-то встречусь с „оставшейся“ интеллигенцией, с друзьями, коллегами, знакомыми, пережившими эти годы в столь иных, отличных условиях? Поймем ли друг друга?

Отрадно признаться: никакой „пропасти“ между ними и собой я совершенно не почувствовал. Те же вопросы, те же печали, те же пути мысли, те же, в сущности, варианты решений. Легко было с первых слов установить взаимопонимание: мы говорили, даже подчас и споря, на общем языке. Впрочем, это отчасти понятно: разве сам я не советский спец и разве Харбин не входит вот уже скоро год в зону прямого советского влияния?..

И в то же время должен отметить другую черту: глубочайшую отчужденность настроений интеллигентско-спецовских московских кругов от собственно эмигрантских течений всех сортов—„монархических“, „демократических“, „социалистических“. В Москве понимают, что положение гораздо более своеобразно и сложно, чем оно обычно изображается зарубежными газетами. Меньше всего панацея в „антибольшевизме“. Насчет „панацеи“ вообще слабо. Всякого рода этикетки, схемы, рецепты настолько примелькались за революцию, что мало-мальски наблюдательные люди прочно приучились не ставить их положительно ни в грош.

Признаюсь, меня даже несколько удивило постоянно подчеркивавшееся в разговорах отмежевывание от эмиграции, а нередко и явное раздражение против нее. Совсем не по советски настроенные интеллигенты—и те считают обязательным отгородиться от „вашей эмиграции, которая, кроме глупостей, ничего не делает и не говорит“. Бывали случаи, что некоторые слишком уж огульные характеристики мне самому приходилось пытаться смягчить. Но нельзя отрицать: эмигрантская пресса сделала все от нее зависящее, чтобы оттолкнуть от себя население современной России без различия классов, положений и направлений.

В беседах часто затрагивался „текущий момент“. Все единодушно констатируют хозяйственный подъем. Страна оправляется. „Выкарабкиваемся из беды“ — это преобладающее настроение, господствующая уверенность. Разумеется, никому в голову не приходит печалиться по поводу экономического возрождения или пытаться его тормозить. Поэтому, между прочим, единодушно осуждается позиция П. Н. Милюкова в вопросе о признании Советской России и отношениях ее с иностранными государствами.

За все время пребывания в России мне довелось встретиться всего лишь с одним закоренелым пессимистом (обывательские причитания не в счет) насчет нашего будущего. Известный опытный литератор, он воплощал свои мысли в ударные, эффектные формы. Он красочно каркал о ждущих Россию ужасах.

— Помяните мое слово — восклицал он, — мы стоим у второго раздела России (первый был в Бресте). Война на носу. Мы проиграем ее и потеряем Украину, еще несколько кусочков по западной границе, может быть, кстати и Ленинград, последнюю форточку в Европу... Но этим дело не кончится. Пройдет еще несколько лет, мы не уймемся по части мирового пожара,—и будет третий раздел

России, когда от нас отнимут Кавказ, Туркестан, когда отложится Сибирь,—и вот когда мы дойдем до границ Калиты, тогда-то, наконец, и догадаемся, что такое наша великая революция!..

Ему возражали со всех сторон, вскрывали эфемерность его кассандровских прорицаний. Указывали на общеизвестные европейские затруднения, на усиление Советского Союза, ссылались на историю и эволюцию советской дипломатии, на ее „козыри", на исторические примеры и т. д.

Но даже и отступая, он отстреливался по парфянски:

— Не спорю, идет большая игра. Да, в Кремле не дураки, но ведь и Чемберлен не дурак. Да, у нас три туза, но у них-то ведь четыре короля! Нет, их шапками не закидаешь!..

К чему приведет столкновение России с Европой и каковы его подлинные основы! Этой проблемой обозначался более глубокий, далеко за грани „текущего момента" уходящий водораздел между спорящими за вечерними чашками чая. Недаром вспомнились сороковые годы. Приглядевшись, я убежден, что основной идейный водораздел современного интеллигентского сознания попрежнему может быть выражен в категориях „славянофильства" и „западничества".

Да, и теперь еще живы споры, описанные в „Былом и думах". Модернизованные, обросшие тысячами новых аргументов, усложнившиеся, утончившиеся, но в сущности, пожалуй, все те же.

Как это у Герцена?—„У нас была одна любовь, но не одинаковая, и мы, как Янус или как двуглавый орел, смотрели в разные стороны, в то время как сердце билось одно".

Конечно, многое теперь стало другим. „Славянофилы" не станут ныне отрицать Петра, государство, право теми словами, которые звучали в кружке *Хомякова и Аксаковых. „Западники", в свою очередь,* утратили многое от прежнего пафоса, от романтизма „аннибаловых клятв" и упоения первыми вокзалами. Но что-то основное, главное, определяющее осталось, сохранилось и у тех и у других доселе.

„Закат Запада"—вот оселок, рубеж, „дом паромщика". У одних—„интуиция „русского периода европейской истории". У других—уверенность в жизнеспособности, прочности старой, доброй, великой Европы. „Славянофилы" наших дней совсем не пекутся о славянстве, но особенно настаивают на своеобразии исторических путей и национальной миссии России, во многом являющейся наследницей европейского мира. „Западники" же, напротив, попрежнему призывают русских учиться у Европы и теперь доказавшей неизменное свое превосходство перед нами.

— Помилуйте! — каркала наша неистовая Кассандра.—Отбросив фразеологию, скажите, кто *реально* пока в выигрыше: мы или Европа?.. Наше золото у них. Наши земли—у них. Наши ценности, включая сюда и вывернутые шубы, все ушли туда. Мы говорили, они делали. Мы уже года два тщетно целимся в „довоенную норму",—а они шагают себе семимильными сапожищами, по „чудесам техники". А мы тут еще чего-то пищим о конце Запада!..

Другие „западники" защищали ту же точку зрения менее экспансивно, более академично. Они доказывали, что ни материально, ни духовно Европа отнюдь не истощается. „Болезнь Европы" — наше воображение или наше самоутешение. Шпенглер— истерический рефлекс германской военной катастрофы, не более. Демократия переживает кризис, но это кризис *форм* ее, а не существа. Страшные раны войны постепенно заживают. Жив европейский здравый смысл. Живо общеевропейское культурное сознание. Жива европейская культура. Попрежнему мы отстали от Европы. Нам нужно брать с нее пример, а не отворачиваться от нее и тем более не трактовать ее свысока. „Найти себя" мы сможем, лишь приобщившись к Европе, лишь осознав себя европейцами. Россия может сказать „свое слово", но для этого ей вовсе не надо ополчаться на Запад,—ей нужно опереться на него, ей нужно исходить из европейской культуры.

„Славянофилы" воспринимают всю нашу эпоху под несоизмеримо иным углом зрения. Они подчеркивают ее глубочайшую „катастрофичность". Они убеждены, что война была не эпизодом, а рубежом, завершением какой-то большой полосы европейской истории. За относительным внешним благополучием современной европейской жизни они вскрывают духовную опустошенность, исчерпанность, бессилие преодолеть старыми средствами растущие неуклонно тенденции разрушения и распада. И в русской революции они приветствуют явственный сигнал некой радикально, принципиально новой эры в истории человечества.

Культурные традиции „славянофилов" известны. Но попадаются и некоторые индивидуальные симпатии. Один особенно упоен Достоевским, другой исходит от Вл. Соловьева, третий увлекается „евразийскими" перспективами, четвертый опирается на *Н. Ф. Федорова. Оригинальное учение последнего,* насколько я успел заметить, довольно часто упоминается в задушевных разговорах. В свете этого учения, современная эпоха представляется началом некоего универсального перерождения и возрождения человеческого рода.

В ряде утверждений „славянофильски" настроенных своих собеседников я встречал много родственного своим собственным думам и переживаниям. Только формулы москвичей сплошь и рядом звучали резче, фанатичнее. Оно и понятно: ведь их авторы заражены мыслью, не получающей внешнего разряда.

Нередко слышишь беседы и на темы религиозные. Москва, по моим впечатлениям, живет довольно оживленной религиозной жизнью. Насколько она глубока и самодовлеюща, судить не берусь: отзывы на этот счет очень разнообразны и субъективны. Имея государство против себя, нынешняя церковь, разумеется, очень мало похожа на прежнюю. Впрочем, среди священников, как известно, тоже появились коммуноиды: обновленцы „живоцерковники". В отношениях с активно атеистической властью, судя по общим отзывам, они не сумели соблюсти меры, не ограничились надлежащей лойяльностью, а торопливо впали в сугубое коленопреклонение, отдающее фальшью и лицемерием. Они не пользуются авторитетом ни в каких сферах, хотя цер-

ковное управление в их руках. Внутри их самих, кажется, идет расслоение. Пишу с чужих слов, ибо лично встретиться ни с одним из представителей обновленческой церкви мне так и не довелось. Зайдя днем в обновленческий храм Спасителя (20 коп. за вход), узнал из слов почтенной, пожилой привратницы в черном платочке, что службы не собирают молящихся, несмотря на то, что „мы такие же православные, мы обновленцы, а совсем не живая церковь, мы и догматы признаем, и никакой разницы"...

Подчас приспособление приводит к любопытным компромиссам: так на одной из московских улиц процветает кооперативная церковь „Красный Звон". Знакомый литератор, религиозный человек, говорил мне, что очень любит эту церковь. Вероятно, не всегда и не всякое приспособление одиозно.

Верующие — духовенство и миряне — в огромном большинстве, оставаясь собою, вполне лойяльны по отношению к государству. Таковы были и заветы патриарха, ими безгранично чтимого. Они часто повторяют евангельский текст „кесарево кесарю, а божие богу". Этим они выгодно отличаются и от „красных" священников и от заграничных политиканов в рясах. Мне несколько раз приходило в голову, что некоторая ревизия церковной политики советской власти могла бы принести государству и самой власти много реальной пользы. Пережитки плакатного, вульгарного „антирелигиозного" натиска (ср. „Безбожник"), конечно, ничуть не укрепляют атеизма, никого не убеждают и лишь искусственно отталкивают от правительства известные слои населения, оскорбляя религиозное чувство одних и раздражая элементарное культурное сознание других. Власть уже отказалась от „комсомольских рождеств" и других, им подобных, методов хирургии духа, поняв, что они приводят к обратным результатам. Еще несколько разумных шагов в том направлении были бы очень нелишни и принесли бы, думается, благотворные плоды. Это ныне одна из злоб интеллигентского дня. Ну, а в большом историческом и культурно-философском масштабе нужно и тут постичь высший смысл нашего страшного кризиса. Для русского духовного и культурно-национального сознания он—творческое испытание огнем.

Часто слышал в Москве о большом развитии в деревнях сектантства. В некоторых районах укрепляется старообрядчество.

А в интеллигентских кружках там и сям загораются болотные огоньки рафинированной мистики. Говорят об антропософах, теософах. Но все это текуче, гибко, скрытно... Все это за семью замками и печатями... И тонко, очень тонко, и часто рвется... И вновь течет, и вновь огоньки...

Однако, пора кончать. Скоро Чита. Уже появились характерные сопки, покрытые лесом и плешинами... Завтра рано утром граница.

9 августа 1925 года.

КВжд. Можно сказать, „дома". В окнах знакомая равнина, монгольская степь,—скоро, должно быть, Хайлар. Отдельное купэ, проводник в коричневой нарядной форме именует: „господин начальник" Какая перемена!

Один провинциальный адвокат рассказывал мне, горько жалуясь на судьбу, что оговорка „господа судьи" стоила ему громкого скандала и недвусмысленного предупреждения. Нет господ в свободной советской стране... Давно нет и „начальников"...

А тут все по иному. Почувствовал это сразу же с первого шага. В Маньчжурии на вокзале произошел характерный qui pro quo.

Китайская таможня. Раскрываем багаж. Китаец, быстро двигаясь, обращает внимание только на книги. Отбирает все и откладывает тут же на прилавок. Непосредственно за ним следует другой чиновник, франтоватый, даже хлыщеватый молодой человек, русский, из белых офицеров. Его дело—конфисковать крамольные книги. Вижу, служит службу за совесть.

Подходит. Начинает перебирать книги. Гляжу, отбирает одну за другой. Беда. Отнимает даже „Версальский договор" в переводе Ключникова, перевод западных конституций Дурденевского, книжку С. А. Котляревского. Еще, еще. Большевистская пропаганда.

— Помилуйте, за что же Версаль? Если это и пропаганда, то отнюдь не большевистская.

— Ну, это же большевистский перевод. У большевиков нет книг без пропаганды. Мало ли что написано „Версаль", а перевод еврейско-большевицкий. В сущности все книги должны быть конфискованы.

На мой недоумевающий взгляд—стереотипное:

— Можете жаловаться.

И не без яда:

— Только поскорее. А то через три дня их сожгут.

На этом беседа закончилась. Было обидно, и в душе с особой интенсивностью горел заносчивый советский патриотизм. Эта встреча „заграницы" сразу заставляла спокойнее относиться ко всем изъянам русской жизни и цепче ухватываться за родину, как она есть.

Впрочем, инцидент, благодаря случайному вмешательству некоего доброго влияния, вопреки ожиданию, завершился благополучно, и книги через некоторое время окольным путем вернулись ко мне...

...Подъезжаем к станции. Направо — знакомый темный лесок, так странно выступающий в степи: монгольская священная роща Хайлар.

(День).

Итак, итоги? Жаль, что езды всего восемь дней: многого не успел досказать. А вот уже и итоги...

Что же, в общем и ожидал увидеть Россию такою, какой увидел. Напрасно кое-кто из друзей попрекал меня в письмах „оторванностью" от нее. Оторванности не было — говорю это совершенно искренно: мне не так трудно было бы признаться в обратном.

Оторванности не было. Побывав в Москве, я, признаться, не вижу оснований в чем-либо существенном, в основном менять свои оценки последних пяти лет. Так же, как я, думают очень многие в России, но, конечно, там никто не говорит всего того, что за границей выпало сказать на мою

долю. Некоторые дружески советовали в интересах дела замолчать и мне. Это, кажется, самый серьезный совет и единственное серьезное возражение по моему адресу...

Далее. Русскими впечатлениями полностью оправдывается самый безрадостный взгляд на нашу политическую эмиграцию. Она целиком — от кирилловцев до меньшевиков—по ту сторону жизненных реальностей. И не только их самих, но даже и их понимания. Она не унесла родины на подошве сапогов. Не проходит безнаказанно дышащее гордынею „nunquam revertar“...

Из этого не следует, однако, что в России вовсе нет „внутренней эмиграции“. Она есть... но тоже по ту сторону понимания жизненных реальностей. И совсем по ту сторону жизненной значимости.

Внутренний эмигрант водится теперь лишь среди обиженных, разоренных революцией людей, среди „недорезанных буржуев“, если воспользоваться этим грубым и бессердечным, но характерным для жестокой нашей эпохи термином. Среди же служилой интеллигенции, не говоря уже о „новой буржуазии“ и крестьянстве, он радикально перевелся.

„Бывшие люди“. Жалкое, грустное впечатление производят они, несчастные тени прошлого. А ведь среди них — столько хороших, благородных душ, нежных сердец, столько прекрасного воспитания, теперь никуда не нужного, столько впечатлений „другого мира“...

Там еще надеются, верят, что все это не всерьез, там еще мечтают: ведь мечтать так сладко!..

— Чем же нам жить, если не надеждой?..

С горечью говорил мне один из этих тихих призраков в ответ на мои разочаровывающие замечания.

Когда посмотришь на жизнь этих разбитых жизнью, все потерявших стариков,—действительно поймешь их:—такие они жалкие, жалкие...

Они цепляются за любые соломинки, ловят пустейшие слухи, застенчиво жуют малейший намек на надежду. Очередная убогая иллюзия нынешнего лета—вера в англичан, в Чемберлена. Чемберлен— любимец, герой, jeune premier этого потонувшего мира.

Собираются старушки и старички, пьют чай с хлебцем и сахарком—и начинается поэма, симфония мечтаний и самоутешений, сладенькая, как сахарок, и вываренная, как вчерашний чаек, завариваемый из экономии вновь и сегодня...

Не скрою, мне очень больно это писать и никогда не брошу я камня в этот бедный призрачный мирок, доживающий дни свои. Но нельзя же не видеть его подлинного облика, нельзя же не учитывать его удельного веса.

...Так в чем же, так где же, однако, действительные жизненные реальности! Где же реальный центр!

Конечно, он в новой, из революции выходящей России. Нужно это понять, осознать и осмыслить.

Своеобразие советской диктатуры в том, что она коренится в планомерной и мастерской организации городских масс. Сложной системой госорганов, парторганов и профорганов окутываются, берутся в оборот достаточно широкие слои населения. Куда не достигает один рычаг, достигнет другой. Хуже в деревне: но если деревнею не командуют, то ее несравненно больше, чем прежде, слушают. А она органически разбужена революционным громом.

„Народ“, бесспорно, стал гораздо активнее, чем был до революции. Вместе с тем власть, несмотря на свой централистский характер, как то приблизилась к массам. И сами пороки ее — неизбывный результат, непосредственное отражение недостатков нашего народа. Словно изживается историческая пропасть между народом и властью. Изживается, правда, ценою временного регресса, временного понижения культурного уровня, но, право же, это сходная цена: ею оплачивается оздоровление государственного организма, излечение его от длительной, хронической хвори, сведшей в могилу петербургский период нашей истории, так много обещавший и—не будем отрицать—так много осуществивший.

Теперь весь народ как бы шагает в уровень с властью, влияя на нее, но и подчиняясь ее руководству. Много нитей связывает нынешнюю власть с массами. Связи эти реальны, не только декоративны. Именно тем, что они реальны, обусловлена трансформация облика революции за протекшие годы. Россия теперь движется вперед всею своею громадой. Ее поступь подчас неуклюжа, но зато, нужно думать, верна. В ней чувствуется здоровье, надежная сила, растущее самосознание. Таково неотразимое общее впечатление современной русской действительности. Это можно констатировать, даже и чувствуя в себе частицу „Лаврецкого“, даже и понимая и ценя все хорошее, все привлекательное, что было в потонувшем навсегда старом русском мире.

Нечто подобное наблюдалось, повидимому, и во Франции к завершению революционного периода. Даже Тэн должен был это признать. „В 1794 г.,— читаем у него,—наше внутреннее серьезное чувство заключалось в одной идее: быть полезным родине... Когда в нации дух так силен, она спасена, каковы бы ни были безумия и преступления ее правителей: своим мужеством она искупает их пороки, своими подвигами прикрывает их преступления“. Тэн при этом странным образом упускает из виду, что „безумия и преступления“ людей революции исторически сами явились одним из основных факторов того „внутреннего серьезного чувства“, о котором он столь метко говорит...

Так и в России теперь. Страну охватывает дух восстановления, ренессанса. Страна работает. Страна преисполнена глубокого и серьезного патриотизма, закаленного испытаниями и осознанного предметно в реальности общего дела.

Это основное впечатление. Оно окрашивает собою все пролетевшие так скоро недели радостного свидания с Москвой и Россией.

(Ночь. Завтра утром—Харбин).

ПОВЕСТЬ О СОБАКЕ.

МИХАИЛ КОЗЫРЕВ.

Повесть о собаке начиналась так:

„Трезор лежал у своей конуры и грелся на слабом осеннем солнце. Рыжая шерсть его кое-где вылезла, обнажив коричневую с белыми пятнами кожу. Сонные мухи вертелись вокруг его головы и с едким жужжаньем садились на гноящиеся глаза. Трезор поднимал лапу, лениво отмахивался от надоедливых мух и опять надолго застывал в прежнем положении. Вытянутые во всю длину задние лапы его вздрагивали, он тяжело, с хрипом, дышал и изредка ворчал, словно в просонках. Недели две как охватило его странное безразличие ко всему окружающему: целыми днями лежал он у своей конуры, мордой к солнцу и вспоминал всю свою богатую *впечатлениями жизнь*“.

Дальше писатель Семен Игнатьевич Худосеев хотел рассказать о всей жизни пса: о его детстве, когда он валялся в траве вместе с такими же, как и он, маленькими глупыми щенятами, о первых впечатлениях его сознательного собачьего бытия, о его песьих радостях и горестях, вплоть до последних дней существования и, наконец, о его собачьей смерти. Каждый день Семен Игнатьевич садится за стол и мелким тщательным почерком нижет строки на узких лентах бумаги.

Сегодня работа не ладится. Слова торопливо набегают одно на другое, каждую фразу приходится переправлять, перечеркивать—и снова писать, чтобы в конце концов зачеркнуть весь период. Он быстро устает, тяжелеет голова, слипаются глаза, и, откинувшись на спинку кресла, он сидит неподвижно с полузакрытыми глазами, и мысли его убегают далеко от начатой повести.

Ему вспоминается детство, когда бойкий жизнерадостный Сенька бегал босиком, в синей ситцевой рубахе, по заросшим пыльной травой улицам уездного города, гонял голубей, купался и ловил рыбу, блуждал по лесам, собирая грибы и разыскивая птичьи гнезда. Пьяный отец с ведерком в одной руке и кистью в другой — подрядчик малярных работ—возвращается из кабака и, покачивая головой, напевает любимую песню:

Не вино меня качает,
Меня горюшко гнетет...

Потом садится за стол и, подперев лицо кулаками, молча плачет. Сенька смирно сидит за столом. Матери нет: в такие минуты она уходит к соседям из боязни скандала:—обыкновенно тихий и скромный в пьяном виде Игнатий скор на руку.

— Ну что, обормот? — говорит отец: — Пьяница у тебя батька? Да? Не он пьет, горе его пьет, вот что! Ты это понимать должен, щенок!

И опять затянет тоскливую заунывную песню. Сеньке интересно знать, о чем думает батька, отчего он плачет, но спросить боязно — вдруг побьет. Он смотрит на испачканные краской руки отца, на его порванную рубаху и, стараясь говорить басом, скажет:

— А ты не горюй, папка! Будет и наш черед!

— Ах ты, прохвост этакий,— ласково отвечает тронутый сочувствием Сеньки отец, гладит вихрастую Сенькину голову и говорит:

— Ты у меня погоди, Сенька! Тебе не надо *будет маяться! Я тебя, Сенька, в гимназию отдам!*

Сенька в гимназии. Он быстро растет, вытягивается, у него ломается голос. Когда отец напивается,—а напивается он теперь все чаще и чаще,— то гладит Сеньку по голове и говорит:

— Ты гимназист! А я что — вошь!

И отвечая каким-то своим думам, обыкновенно добавляет:

— Вырастешь — исправником будешь!

Семен Игнатьевич улыбается про себя, смотрит на незаконченную рукопись, оглядывает заставленную книжными шкафами комнату:

— А вот исправником-то и не сделался!

Университет, беготня по урокам, нелегальная работа в полустуденческих, полурабочих кружках, первые студенческие волнения и высылка в не столь отдаленные места, определившая навсегда его писательскую карьеру. Оторванный от кружков и партий, в одинокой норе начал Семен Игнатьевич свои очерки из жизни дальнего севера. Несколько очерков послал он в „Русское Богатство“, один из них был напечатан, и Михайловский в небольшом письме приветствовал его молодое дарование.

Вспоминая об этом, Семен Игнатьевич смотрит на портрет покойного критика. Портрет этот подарен Худосееву самим Михайловским, с собственноручной надписью — до сих пор Семен Игнатьевич никогда с ним не расставался.

Девятьсот пятый год, высылка на родину—и снова писательская работа. Отдельной книгой выходят его очерки „На севере“, и перед ним открывается широкая литературная дорога.

Худосеев не был плохим писателем, но он не был и писателем выдающимся. Средний литературный работник, хорошо владевший русским языком и умевший подойти к изображаемому не так, как другие, он

имел довольно обширный круг читателей и литературных друзей. „Честное“ направление, наконец, обеспечивало ему всеобщее уважение и спокойную смерть после двух-трех юбилеев. Он был трудолюбив, привычка писать ежедневно настолько укоренилась в нем, что даже в те времена, когда журналы и книги перестали выходить, он, в противоположность очень и очень многим, каждое утро писал в нетопленной комнате, отогревая скрючившиеся пальцы своим собственным дыханием. Но эти тяжелые годы не прошли для Худосеева даром: он слишком скоро устает, уже нет прежней легкости, трудно час или два жить чужой жизнью. Преодолевая эти трудности недавно закончил он большую повесть, в которой посильно старался разобраться в новых впечатлениях и в характерах новых людей. Повесть эта была недавно сдана в одно из крупных издательств и сегодня надо было пойти за деньгами. В портфеле Семена Игнатьевича было еще два небольших полузаконченных рассказа, когда ему пришла в голову мысль написать повесть о собаке. Он несколько раз отбрасывал эту мысль, как ненужную, несвоевременную, но побуждаемый как бы непреодолимой силой он писал и писал каждый день.

Оторвавшись от работы, Семен Игнатьевич взял в руки небольшой, но изящно изданный томик, с обложкой, сделанной художником, любившим северную природу. С. Худосеев. „На Севере“: это было недавно вышедшее в свет седьмое издание его первой книги. Ему хотелось еще раз перечитать эти очерки, возобновить в памяти длинные зимние вечера, когда при свете тусклой лучины, далеко от людей он начал и кончил эту до сих пор самую любимую книгу.

— Нет, надо писать...

Он берет карандаш и продолжает:

„Трезору восемь лет. Возраст для собаки большой,— но он еще красив, его рот полон крепких зубов, его уважают и боятся соседние псы. Но все чаще и чаще охватывает его странное равнодушие, все реже и реже вмешивается он в драки и спокойно лежит у своей конуры, когда другие с глухим ворчанием проносят мимо него одуряюще пахнущие лакомые куски...“

II.

Худосеев посмотрел на часы, отложил карандаш, прошелся по комнате, словно отряхиваясь от заполнивших его мыслей. Потянувшись и зевнув, он прошел на кухню, развел примус, вскипятил чайник. За чаем он обыкновенно просматривал газету.

В отделе библиография и критика ему метнулось в глаза: С. Худосеев. „На Севере“. Он с жадностью принялся за заметку но по мере чтения лицо его принимало все более испуганный и недоумевающий вид. Он прочел заметку до конца, тщательно свернул газету, сказал почему-то:

— Так!

Стукнул пальцем по столу протер очки, снова развернул газету и снова перечитал заметку.

„На Севере“—ряд небольших „очерков“, спешно набросанных автором, вероятно, проездом, через описываемые места. Язык иногда вял, иногда остроумен, но это не искупает легкомысленного подхода... полное игнорирование современных запросов... огненная буря революции пронеслась мимо... но она пронеслась не мимо Севера, а мимо автора этих „очерков“... Все же надо сказать, что если бы автор книги был знаком с предметом не с чужих слов и не из окна вагона, эти очерки можно бы было рекомендовать новому читателю...“

Подписи нет. Семен Игнатьевич несколько минут ходил по комнате, изредка останавливался, говорил:

— Так!

И опять возобновлял путешествие. Наконец, успокоившись, сел за стол, выпил стакан холодного чаю и подумал.

— Дали безграмотному человеку... Надо исправить ошибку... Что за глупость! Революция! Да ведь эти очерки написаны еще до первой революции!

Он поспешно одевался, руки не попадали в рукава, не заметил, что шапку надел боком и забыл повязать галстук.

В редакции его встретил молодой человек на тонких кривых ножках с орлиным носом и густыми вопросительно приподнятыми шершавыми бровями. Говорил он отрывисто, гортанным голосом, и близоруко глядел на посетителя.

— Как вы сказали? Пудосеев?

— Худосеев, — поправил Семен Игнатьич.

— Чудосеев? Не знаю... Чего же вы от меня хотите?

— Я хочу видеть редактора...

Молодой человек перекинул ногу за ногу, развалился в кресле и, глядя на Худосеева поверх пенсне, сказал:

— Я за него!

Семен Игнатьевич сбивчиво, путаясь в словах, старался объяснить, в чем дело. Молодой человек со скучающим видом слушал рассказ Худосеева, и когда тот кончил, осмотрев Семена Игнатьевича с головы до ног, победоносно ответил:

— Это я писал рецензию! Что же вам нужно?

— Извините, товарищ, но это невообразимая чушь, хоть вы ее написали... Двадцать лет назад— книга написана двадцать лет назад — и вдруг — огненные вихри...

Молодой человек снисходительно улыбнулся.

— Так ведь я же прав...

— Это обидно, — продолжал Худосеев: — восемь лет прожил в этих местах и вдруг: с чужих слов...

— Ну и что же?

— Как что же? Вся Россия будет читать... Напишите, что по недоразумению. Тем более заметка без подписи... Рецензент ошибся...

— Ошибся?

Молодой человек хлопнул по столу пресс-папье и решительно отрезал:

— Редакция не меняет своих мнений! Жалуйтесь кому хотите!

Семен Игнатьевич, не глядя ни на кого и никого не слушая, пробежал в кабинет редактора и смело открыл дверь, на которой значилось: „Без доклада не входить“. Редактор сидел за столом и писал.

— Подождите, товарищ... Видите — занят...

— Но я должен сказать...

— Ничего не должны... Занят!

И взялся за телефонную трубку. Худосеев, потоптавшись около двери, с шумом захлопнул ее и почти выбежал из редакции.

Минут через пять в кабинет редактора зашел молодой человек.

— Почему пропустили без доклада? Кто это был?

— Какой-то Чудакеев... Обижается на неблагоприятную рецензию...

— А! — протянул редактор и усмехнулся. Молодой человек быстро перехватил улыбку:

— С этими авторскими самолюбиями! Не писать—обижаются, а напишешь — тоже обижаются...

III.

У дверей кабинета заведующего издательством дожидалось несколько человек.

— Вот и Семен Игнатьевич! Читали, как вас сегодня...

— Это возмутительно... Двадцать лет работать, а потом оклевещут на всю Россию... Ведь, это же обидно,—говорил Семен Игнатьевич,чуть не плача, но в то же время стараясь выдержать спокойный тон.

— Ерунда! Напрасно вы так близко принимаете... Никто и не прочтет...

— А все-таки...

Семен Игнатьич, тяжело дыша, присел на скамейку. Сегодня ему было особенно трудно подняться на лестницу.

— Да что это с вами? Вы больны?

Худосеев снял шапку, вытер отчего-то вспотевший лоб и ничего не ответил. Разговор зашел о квартирах.

— Теперь на это не смотрят... Бумажка? Да мы, говорят, таких бумажек в завкоме сотню получить можем...

— Хотят уплотнить?

— Хлопочу...

— Как же так можно, если по закону не полагается? — обиженным тоном спросил Семен Игнатьвич.

— Закон, закон... А вот вселят постороннего человека — тогда узнаете...

— Да у меня и лишку-то всего десять аршин...— возразил Семен Игнатьевич.

— Ну, так поздравляю вас—торжествующе ответил собеседник: — вам не дадут бумаги...

Семен Игнатьевич снял очки и недоумевающе уставился на собеседника.

— Да, вот так—не дадут. Если двадцать—можно, а меньше — нельзя...

Руки у Семена Игнатьевича дрожали, голос сделался тонким, срывающимся.

— Почему же? Ведь мне работать надо... И вдруг— постороннего человека... А я не пущу! А я стрелять буду...

Дверь кабинета открылась и оттуда выглянуло приветливо улыбающееся лицо.

— Семен Игнатьич! Вас-то мне и нужно...

Семен Игнатьевич прошел в кабинет.

— С вашей повестью маленькое затруднение,— ласково продолжал издатель, усаживая Семена Игнатьевича в большое кожаное кресло.

Издатель разыскал рукопись и указал Семену Игнатьевичу прочеркнутые карандашом страницы.

— Видите— мы сделали тут некоторые отметки... Я, конечно, не смею настаивать, но хорошо бы все-таки... И совсем небольшие изменения, в плане чисто художественном...

— Изменения?

— Вы понимаете — все у вас, конечно, очень хорошо... Но как-то со стороны... Видно, что вы не вошли в самую гущу... Вот хотя бы здесь — издатель продвинул рукопись к Семену Игнатьевичу:—здесь вы описываете революционера? Да? Так зачем же он у вас такой? ну, несимпатичный... Бросает жену, сходится с девушкой, и ту бросает... Какой же это революционер?

— Но позвольте...

— Разрешите... Или у вас тут другой герой... Это совсем легко исправить...

— Но позвольте...

— Нельзя же — вы обобщаете... Что скажут за границей? Или еще в одном месте...

Издатель перелистывал толстую рукопись и одну за другой отмечал ошибки Худосеева.

— Помилуйте! — удалось сказать Худосееву: — ведь вся идея...

— Ерунда! Вы не обижайтесь, Семен Игнатьевич— о вас писали сегодня — и это отчасти правильно... События как будто прошли мимо вас...

Худосеев нервно перелистывал рукопись, комкая и разрывая листы:

— Нет, не могу...

— Вы попробуйте, Семен Игнатьич... Требование момента...

— Момента! — обиделся Худосеев: — Не все же момент... Есть же вечные ценности...

— Ерунда!

Издатель развел руками.

— Напрасно вы, Семен Игнатьевич, напрасно... Я бы вам посоветовал... Вы до сих пор не хотите признать, что у нас была революция и некоторые ценности пересмотрены... Как же другие?..

Издатель показал в угол — и только тут Семен Игнатьевич заметил в углу невысокого человечка с непомерно большой бритой головой, без бороды, без усов и даже без бровей.

— Вот он: талантишка не ахти, а ему объяснять не нужно... Не беспокойтесь — все учтет...

Человечек радостно хихикнул и направился к Худосееву:

— Разрешите мне... Я бы сейчас же исправил...

Семен Игнатьевич презрительно сморщился:

— Нет, не надо...

Издатель на прощанье сказал:

— Все таки вы подумаете, надеюсь?..

Семен Игнатьевич быстро спустился с лестницы. На углу бородатый старик, поворачивая голову то в одну, то в другую сторону, старательно выдувал из флейты что-то заунывное, щемящее, тоскливое. Семен Игнатьевич нащупал в кармане измятую бумажку и бросил ее старику. И тотчас же вспомнил:

— А ведь это последние деньги... Я и забыл попросить аванс...

Когда Семен Игнатьевич поднимался в свою квартиру на третий этаж, сверху по лестнице скатывался серый клубок и чуть не сбил с ног Худосеева.

— Извините,— сказал клубок,— а потом, рассмотрев Худосеева:

— Вам бумага... Завтра вы должны предъявить...

— Позвольте,—начал было Худосеев,—но клубок уже скатился вниз, и снизу из клубка кричало хрипло, как из разбитого стакана:

— Постороннего человека...

IV.

Семен Игнатьич писал:

„Трезор никогда не предполагал, что его, здорового пса, будут обижать куры. Смешно! Но теперь его грозное прежде ворчание никого не страшило, и цыпленок, подобравшись к куску, ловко выхватил его из под-носа Трезора. Трезор смахнул лапой мух со своей морды и лязкнул беззубыми челюстями.

Кво! Кво! Кво!

Это петух собирает кур на отнятую у старого пса корку хлеба...“

Работа не ладилась. Худосеев потирал переносицу, закидывал назад нависавшие на лоб волосы, а мысли разбегались в разные стороны, как щенята, потерявшие свою мать. Даже не мысли,— а отдельные бессмысленные фразы, которым во что бы то ни стало надо было выговориться.

— Как же так? Да ведь это же невозможно...

Прошелся по комнате—и почему то закружилась голова.

— Я слишком много курю,— подумал Худосеев.

Потушил папиросу и тотчас же, машинально раскрыв портсигар, закурил новую.

— Не иначе, как болен... Ну, да все равно...

На столе — объемистая, свернутая в клубок рукопись. Надпись: переговорить с автором. Семен Игнатьевич улыбнулся, взвесил рукопись:

— А что если и правда можно поправить? А?...

Он опять за столом и опять читает рукопись. Страницу за страницей —но это читает не Худосеев, а кто-то другой, которому стиль Худосеева кажется вялым, содержание повести нелепым.

— А ведь и правда,— думает он,— ерунда!

Берет карандаш и начинает исправлять рукопись.

— Ерунда! Ерунда!—повторяет он,— все ерунда!

Карандаш быстро перечеркивает страницу за страницей, и кажется, что это не он, Худосеев, а кто то другой, угрюмый, жесткий и злой сидит и черкает, повторяя:

— Ерунда! Разве так можно писать... В нашу эпоху, когда...

Голова опять закружилась. Худосеев отбросил рукопись и прилег на диван.

— Что же вы, Семен Игнатьевич? Спите?

Семен Игнатьевич раскрыл глаза, непонимающе огляделся и увидел большие, блестящие голодным блеском глаза.

— А — а! — протянул он:— Андрей Петрович...

— Я мимо проходил — дай, думаю, зайду! А вы спите...

— Ничего, ничего...

Изо всех старых еще довоенных знакомых у Семена Игнатьевича сохранился только один—Андрей Петрович Горелов. Новым Семен Игнатьевич не доверял:

— Сволочи! — всегда поддерживал Семена Игнатьевича Горелов.

— Ах, Семен Игнатьич, Семен Игнатьич,— говорил Горелов, поблескивая голодными глазами и запахивая старенькое пальто, в котором щеголял зиму и лето,— прокиснете вы тут в этой комнатушке... Пойти бы нам, да выпить как следует...

Только теперь Худосеев заметил, что Андрей Петрович пьян.

— Выпить? — удивился Худосеев. — Как же это так?

— Да чего там как? Ерунда!

— А ведь и правда—ерунда,—подумал Худосеев и поспешно оделся.

В пивной пахло прокисшими дрожжами, над столиками густо нависал табачный дым, тускло горели лампы. Пиво было теплое, противное, но Семен Игнатьевич старался не замечать этого и пил стакан за стаканом. Постепенно голова освежалась, прояснялись мысли. Он ощущал легкость в теле и необыкновенную чуткость: смеяться, плакать, ненавидеть, любить—эти настроения легко сменяли друг друга.

Перед ним—голодные, горячечные влажные глаза Горелова. Он бьет себя кулаком в грудь и кричит:

— С-сукин сын! Шпыняй подлеца ногой! Ну! Шпыняй, говорю!

— Зачем?—тупо спросил Худосеев и ухмыльнулся.

— Как это можно—зачем? Шпыняй, я тебе говорю—вот эдак: пшел прочь, щенок! И ты прав! Каждый подлец, ничтожество, мразь шпыняет? А почему? Потому что мерзавец! Он право имеет! А у тебя есть такое право или нет?

Худосеев что-то понял и мрачно, еле сдерживая пьяные слезы, проговорил:

— А я не хочу...

— Чего же это не хочешь-то? А? Так-то вас и спросят: пожалуйста, мол, Семен Игнатьич, не хотите ли, мол, Семен Игнатьич, мы тебе в морду наплюем? Наплюют! Не спросят—и наплюют!

— Да ведь есть же совесть,—не унимался Худосеев.

— Совесть? Семен Игнатьич, милый, да кабы у меня совести не было! Зажил бы я, чорт подери! Бросят тебе корку—гложи! Щелкнут сапогом—поворчи, поворчи, да этот же сапог языком полижешь! А глазки-то! Подлец! Ты думал учить, сеять там всякое... Совесть... А он тебе: на кой она мне сдалась эта совесть! Что я из нее подметки себе сделаю? Совесть! А если у меня совести нет—на кой чорт тебе она? А? Я—сукин сын, и ты—сукин сын!

Худосеев молчал и только наливал стакан за стаканом теплое противное пиво и пил. Вышел он из пивной придерживаясь за руку Горелова, который и на улице не мог успокоиться: кого-то ругал или же в раскаянии, колотя себя в грудь, кричал:

— Я—сукин сын!

У дверей своего дома Семен Игнатьевич столкнулся с большеголовым бритым человечком. Бри-

тый широко улыбнулся и снял большую бобровую шапку:

— Не узнали, Семен Игнатьич?

— Нет, отчего же,—ответил Худосеев и тоже попытался снять шапку, но не смог.

Он медленно поднимался по неосвещенной лестнице, придерживаясь за перила, и тихонько напевал себе под нос:

„Не вино меня качает..."

И вдруг вспомнив о чем-то, сконфуженно замолчал:

— Страшное свинство... Это значит — себя не уважать... Да...

Войдя в комнату, он долго стоял перед зеркалом: потрепанная борода, потное красное лицо, взлохмаченные волосы, неподвижные бессмысленные глаза.

— На кого я похож? На кого?

Со стены на него сурово глядел старик, с длинной седой бородой, в черном наглухо застегнутом сюртуке. Семен Игнатьевич заметил этот взгляд и, повернувшись к портрету, сказал:

— Здравствуйте, Николай Константинович! — и протянул руку.

Николай Константинович молчал, брезгливо глядя на Худосеева, и, казалось, прятал от него руки за спину.

— Не хочешь? Думаешь, что я—пьяный? Нет, не пьяный! Мы еще поговорим с тобой, чорт возьми! Извините, что на ты, я немножко выпил...

Николай Константинович ничего не ответил.

— Мы поговорим! Ты думаешь, что я пьяный, так ничего не помню? Все помню! Нет, погоди... Прогресс! Что же такое прогресс?..

Семен Игнатьевич поднял палец кверху.

— Наибольшая, так сказать, диференциация... Да. Так или не так? Так! Да вы понимаете меня, отлично понимаете...

Семен Игнатьевич схватился за гвоздик, на котором держался портрет, и, равномерно покачиваясь, говорил, говорил, говорил...

Николай Константинович молчал, брезгливо оглядывая невзрачную фигуру Худосеева. Семен Игнатьич старался не замечать этого взгляда, но не заметить было нельзя.

— Ага, не уважаешь? Писателя не уважаешь? Вот как!

И гениальная мысль осенила пьяный мозг Худосеева. Он глухо засмеялся, подпер одной рукой бок, выставил вперед левую ногу и, вызывающе глядя на запахивающего полу черного сюртука Михайловского, закричал:

— Истина? Справедливость? Ну что, щенок?

И щелкнув его по лбу покровительственным тоном добавил:

— Вырастешь—исправником будешь!

V.

Проснулся Семен Игнатьевич около одиннадцати. В голове — тяжесть, во рту неприятный вкус. Он попробовал поднять голову, но голова сама собой упала на подушку. Семен Игнатьевич поднял руку—рука оказалась не легче головы.

— Выпил лишнее,—подумал он.

Собрался с силами, подошел к окну, поднял с пола упавший вчера портрет Михайловского и заботливо повесил на прежнее место.

Сверлящая мысль:

— Достать бумагу... Вселят постороннего человека...

Он быстро натянул брюки, сюртук, шубу и пошатываясь побрел на улицу.

— Ишь ты ведь как,—думал он,—прежде и больше приходилось выпивать, а голова никогда не болела...

В учреждении у каждого стола стояла длинная очередь.

— Вам анкету? К следующему.

Семен Игнатьич в конце самой длинной очереди. Впереди—высокий бородач в золотых очках, повидимому, профессор—добродушно посмеиваясь и поворачивая бороду то к одному, то к другому слушателю, рассказывал анекдоты.

— Понимаете—двести семьдесят три анкеты! Ха-ха-ха!

Слушатели смеются.

— Это еще что,—отозвался с другого конца очереди кругленький старичок в пенсне,—а вот один мой знакомый, так тот на вопрос о происхождении просто ответил: сукин сын!

— Ха-ха-ха!

Бородач сочувственно подмигнул Худосееву.

— Вы понимаете,—обратился к нему Семен Игнатьич,—вселят постороннего человека... Ведь я не могу... Ведь мне же работать надо...

Бородач смутился и ничего не ответил.

Семен Игнатьич у стола. Он бережно берет листок и, присев на кончик стула, заполняет анкету.

— Сколько лет? Кто ваши родители? Имели ли они еще какой-либо заработок, кроме означенного в пункте тридцать втором?..

Семен Игнатьич медленно дрожащим неровным почерком заполняет графу за графой. Потом вспомнил о чем-то перестал писать и обратился к барышне:

— А у меня последнее время голова болит... Писать или не писать?

Барышня с удивлением посмотрела на него, задумалась:

— Не знаю... Петр Акимыч, — спросила она у секретаря,—вот у него голова болит...

— Пусть обратиться к врачу... Нас не касается...

Семен Игнатьевич вздохнул и снова принялся за анкету.

„С о ц и а л ь н о е п р о и с х о ж д е н и е..."

Он задумался, словно вспоминая что-то, и неверным дрожащим почерком вывел:

— Сукин сын.

Большеголовый бритый человечек без бороды, без усов и без бровей скромно стоял на лестнице и дожидался Семена Игнатьевича.

— Вы ко мне?—спросил у него Худосеев.—Вы что же собственно?

— Я—посторонний человек... Временно приходится примириться...

— А?—ответил Семен Игнатьич, потер переносицу и как будто понял что-то.

— Я вам нисколько не помешаю, нисколько... Разве мне много надо?.. Я тихонечко...

— Но я не понимаю...

— Да вы не волнуйтесь, Семен Игнатьич... Вам вредно волноваться...

Семен Игнатьич прошел в свою комнату. Посторонний человек проскользнул между ногами и устроился в темном углу. Семен Игнатьевич прилег на диван лицом к стене, чтобы не видеть постороннего человека.

Семен Игнатьевич сидит за столом. Надо спешно закончить повесть о собаке — и тогда можно уснуть. Надо написать еще о том, как лежит старый Трезор в углу своей конуры и дремлет, безнадежно уткнувшись мордой в лапы и закрыв слезящиеся глаза. И вот приходят хозяева:

— Околел?

— Нет, еще дышит...

— Все равно, ящик-то нужен... Тащи его за лапу... За лапу-то тащи, да не бойся! Не укусит! Беззубая...

Он пишет о том, как тащат по земле бессильное тело собаки. Она еле слышно ворчит и чуть подвывает, когда попавшийся на пути острый камень сдирает с ее кожи последнюю еще не вылинявшую шерсть...

— Ну что же? Все? — спрашивает он куда то в пустоту.

— Нет, не все!—отвечает чей-то заискивающий тоненький голосок.—Нет, не все!

Посторонний человек сидит на углу письменного стола и болтает в воздухе ногами.

— А вот и не все! Зачем же вы так? Разве можно? Разрешите я... Будьте уверены — хуже не сделаю... Нет... Разрешите.

Семен Игнатьевич доверчиво уступает ему рукопись.

— Ну вот и отлично, вот и отлично... Я рад, что вы, наконец, поняли... Так... Тут нужны сущие пустяки—и все будет великолепно...

Человечек берет карандаш:

— Знаете о чем вы забыли? Общество покровительства животным! Да!

Он воодушевляется:

— И вот в ту самую минуту, когда бедного Трезора выбрасывают из его конуры, приходит член этого общества или просто сосед и говорит хозяину: „Что ж это ты, такой-сякой! Несчастный пес работал на тебя всю жизнь, а теперь, когда он отслужил свое, ты выбрасываешь его вон? Ведь это жестокая несправедливость!“.

Семен Игнатьич слушал и, соглашаясь, наклонял голову.

— Так... Так...

— И вот у хозяина заговорила совесть...

Семен Игнатьич очнулся:

— Так ведь нет же совести?—вспомнил он.

— Ну что вы! Нельзя же так прямолинейно! Где и когда! В данный момент как раз требуется совесть... И вот хозяин сжалился над Трезором и отнес его в ближайший ветеринарный пункт...

Семен Игнатьич хитро подмигнул человечку:

— Знаю, знаю... А ветеринар отравил несчастного пса?..

— Те-те-те!—погрозил человечек: в вас говорит старая закваска... Нельзя... Нельзя-с...

— Но ведь это—неправда!

— Не всегда же говорить правду! Момент! Ведь у вас потому и не выходит ничего, что вы забываете требования момента... А теперь как раз такое время...

Семен Игнатьич больше не слушал. Он вытащил рукопись из рук человечка, запер ее в ящик:

— Теперь момент—спать...

Человечек остался сидеть на столе.

— Ну, что же вы?—спросил Семен Игнатьич, оглядывая человечка сквозь мутные очки.

— Я... Я ничего... — пробормотал человечек и спрятался под стол.

— Я—ничего... Я и тут... Как-нибудь...—лепетал он.

Семен Игнатьич вздохнул и, присев на диван, начал стаскивать сапоги. Руки не слушались, голова сама собой опускалась на подушку.

— Хоть бы помог... все не зря... — мелькнуло в голове Семена Игнатьича. Он посмотрел под стол—человечка там не было.

VI.

Семен Игнатьич в тюрьме. Он сидит на жесткой деревянной койке и пытается встать, но ноги не слушаются его.

— Кандалы!

Тюремный надзиратель, маленький, бритый—без бороды, без усов и даже без бровей—стоит перед ним и тоненьким заискивающим голоском лепечет:

— Да, да, кандалы... Да вы не волнуйтесь, Семен Игнатьевич — вам вредно... Неудобно? Что ж из того! только первое время... А потом привыкнете и хоть бы что... Тяжело? Верно, верно — ну что же... Надо учитывать момент...

Семен Игнатьич проснулся. Он лежит на диване. Кандалов нет.

— А что если придут, и закуют в кандалы?

Надо немедленно встать и уйти, скорее, скорее... Может быть, тюремщик забыл запереть дверь?

Семен Игнатьевич. Что с вами!

Худосеев полуодетый стоит на лестнице. Глаза, без очков, бессмысленно озираются.

— Что же вы? Да вы больны, Семен Игнатьевич! Пойдемте...

Андрей Петрович Горелов берет Худосеева под руки и ведет в комнату.

— Плохо, плохо, Семен Игнатьич... Доктора надо бы позвать... Деньги-то есть?

Худосеев отрицательно машет головой!

— Нет? Ну тогда лучше в больницу... И то правда,—кто тут за вами ухаживать будет? Одевайтесь... Одевайтесь поскорее и едем... Нельзя же так. Так, пожалуй, и умереть можно...

Через полчаса Семен Игнатьич сидит на извозчике. Ему кажется, что не он сидит на извозчике, а его шуба. Он только посажен кем-то в эту шу-

бу, как в тюремную камеру, и не может из шубы вылезть. Горелов поддерживает его.

— Извозчик—это больница? Стой!

Белые больничные стены, белые халаты, белые двери, запах карболки и туго стянутый белый воротник. Горелов волнуется.

— Да вот же и паспорт! Не кто нибудь...

Доктор внимательно разглядывает документ.

— Даже и паспорт просрочен... Не можем...

— Вы же не паспорт принимаете, а больного! Вот он сам...

— Послушайте, гражданин, как же так, без документа!

— Человек ведь!—горячится Горелов.

Доктор обиделся.

— Я ведь сочувствую, но что я могу... Человек! Так ведь и каждый будет говорить—человек!

— Тоже сдуру ляпнул—человек,—подумал Горелов.—Сам виноват, не надо бы...

— Извозчик! Где тут еще больница?

Извозчик трогает вожжи.

Опять белые стены, халаты, туго стянутые воротнички.

— Я вам толком объясняю, почему не можем принять... Где у него страховой билет? Он член профсоюза?

Горелов в недоумении почесывает затылок.

— Н-не знаю...

— А не знаете и еще горячитесь,—укоряет его белый воротничок.

— Так как же быть?

— Везите в частную больницу...

— Да у меня денег нет...

— Это меня не касается...

Снова: извозчик, больница, белые стены...

— Я вам говорю: достаньте страховой билет... Или в крайнем случае — бумагу из профсоюза...

— Пусть он останется у вас, а я съезжу...

— Нельзя...

Горелов, понурив голову, идет к извозчику. На извозчике—шуба Семена Игнатьевича и сам Семен Игнатьевич, посаженный в шубу.

— Ну что же. Не принимают нас с вами, Семен Игнатьич! Паспорта нет! А мы поедем и разыщем вам паспорт—не умирать же из-за этого на улице?

Семен Игнатьич молчит. Он даже не слышит, о чем говорит Горелов. Он сидит в своей шубе, как в тюрьме, и изредка шепчет:

— Зачем же кандалы... Нехорошо...

Силится поднять руку—не может... Пробует поднять ногу—не может.

Союз. В канцелярии постукивают машинки. Недовольная барышня нетерпеливо выслушивает Горелова.

— Да он член союза или нет? — добивается она.—Если член союза — пусть обратится в свой местком...

— Да нет же у него месткома... Я вам говорю—писатель... Известный писатель Худосеев, он болен, и его не принимают в больницу...

Подошла другая барышня.

— Вы и есть Худосеев?

— Да нет же...

— Пусть он сам придет, проявит активность,—нашлась первая барышня.

— Чорт возьми! Да ведь он умирает!

— Всегда так—отозвалась вторая барышня,—пока жив, пальцем не тронет, а умирать, так мы обязаны...

Горелов побежал в кабинет председателя.

— Худосеев? Как же, знаю... Что вы хотите? Вот какой вздор — сейчас, сейчас... Возьмите эту записочку и в соседнюю комнату... Говорите, тяжело болен? Жаль, чрезвычайно жаль...

Горелов опять в канцелярии.

— Будьте добры... Записка от председателя...

Барышня недовольно пожимает плечами:

— Погодите, я схожу, выясню...

И через некоторое время, протягивая бумагу:

— Как же можно? Надо было заранее позаботиться...

Размахивая бумажкой, довольный и радостный выбежал Горелов на улицу.

— Семен Игнатьич! Достал! В любую больницу...

Семен Игнатьич не поднял головы. Горелов наклонился над шубой.

— Семен Игнатьич, голубчик, да что же вы...

Худосеев неподвижно лежал в своей шубе, вытянув ноги и раскинув руки. Его неподвижное посиневшее лицо заносило снегом.

— Семен Игнатьич! Что же вы? Только бы полчаса подождать...—чуть не плача кричал Горелов. И извозчику:

— Вези назад!

Лошадь, чуя покойника, настороженно запрядала ушами.

Хоронили Худосеева солнечным зимним утром. Гроб его, обтянутый красной материей, вынесли из квартиры товарищи по работе. За гробом шли знакомые, был прислан даже отряд красноармейцев и оркестр.

Над гробом говорили длинные прочувствованные речи:

„Он был один из тех самоотверженных людей, которые поднимали голос в глухие времена старого режима... Память о нем, как об одном из лучших борцов...“

Такого же содержания заметки появились в день похорон во всех газетах.

Когда провожавшие покойника уходили с кладбища, к Горелову подошел невысокий человек, чисто выбритый, без бровей и с длинным словно принюхивающимся носом.

— Кажется, знакомы, — сказал он. — А знаете мне довелось провести последний вечер с Семеном Игнатьевичем... Он пришел за удостоверением на комнату и там едва не свалился... Я отвез его домой...

— А вы не знаете, — добавил он, — как его квартира? Кто-нибудь занял ее или нет?

* * *

Повесть о собаке так и осталась неоконченной.

РАСПЛЕСНУТОЕ ВРЕМЯ.

БОР. ПИЛЬНЯК.

Жизнь очень напряженна. Человеческий мозг, как кувшин с водой, может наполняться только до пределов: иначе польется через край; и огромное счастье не иметь на столе блок-нота, где записано: „рукописи в „Круг", „позвонить курьеру", „в пять А. Б., приготовить книги", „в два позвонить Дикому", „предупредить Всеволода". Дома все знают, что до четырех „нет дома, кто спрашивает",—потому, что я сижу за столом, иначе невозможно,—иной раз надо прятаться даже от звонков. Но в семь всегда надо выходить из дому—для встреч, для театра, для заседаний и споров,—это счастье, если ляжешь спать в два. И это несчастье, если надо днем пойти в редакцию за гонораром, в район за паспортом или о подоходном налоге,—день погиб, время чрезвычайно тесно, а мозги, как кувшин с водой, надо беречь, чтобы не расплескать мысли. Необходимо писать, словами и образами можно беременеть и—можно орать, как закричала бы, должно быть, кошка, если бы ей не дали возможности разродиться, и поистине по-кошачьи надо иной раз кричать, что „нету дома, снимите телефонную трубку". Чтобы писать, надо никуда не спешить и беречь свой кувшин мозгов, не расплескать. И книжек на полках растет все больше; по полкам книг уползаешь все выше, где все начинает одиночествовать,—да ползешь и по полкам лет, волосы уже не рыжие, не ражие, выцветают. Всякая жизнь однообразна, и у меня такое же, как у всех однообразие.

Приехал из Питера Замятин. Обедали, собрались в театр. Евгений с репетиции (приезжал смотреть, как ставят во Втором МХТ „Блоху") заезжал в „Современник", привез оттуда мне письмо, присланное в адрес редакции (когда собрался я уже из дома, звонил Рукавишников, с ним давно мы затеяли переписку с Хлебного на Поварскую, при чем Хлебный переселялся в Испанию, а Поварская на Шпицберген, где был я по осени, и решить мы в письмах хотели истину шахматной игры, переплетенную в гофмановский переплет. Последней—прекрасной—Любви); Евгений передал мне письмо, я положил его в карман, решив прочесть потом. Замятин и я, мы пошли в Художественный на „Ревизора", в антракте Евгений пошел за кулисы, а я остался, чтоб прочесть письмо.

Вот оно:

„16/XI—24 г.

„Читала Вашу книгу „Былье", и вспомнила 19-й год, мою поездку за хлебом и знакомство с Вами. Помните телячий вагон, Вашу поездку за хлебом и девушку с рыжими волосами. Вы кажется, не знали моего имени и называли меня Тезкой. Помните Ваши настойчивые и упорные желания, которые я не хотела исполнить. Вначале я ведь ни капельки не боялась Вас и мы бродили далеко, далеко по полотну железной дороги. Гуляли, болтали, лежали на Вашей шинели. Вы мне рассказывали о чем-то красиво, красиво и мне хотелось бесконечно слушать. Обратно ехали на станцию на площадке встречного поезда, тесно прижавшись друг к другу. Тогда мне приятно было чувствовать мужчину сильного, страстного... Вы же, надеясь, верно, что я уступлю, чем дальше, тем упорней настаивали...

„С тех пор прошло 5 лет. Я изменилась так, что вы едва ли, встретив, узнали бы. Много пережила, стала опытной и поняла, что Вы поступили великодушно. На свете столько зла и насилия, что теперь я оценила Вас. Я ведь была наивна и беззащитна, и стоило Вам приложить побольше усилия, чтоб оставить ужасный и вечный след на моей душе. Но вы не сделали этого. Благодарю.

„Теперь у меня просьба к Вам: укажите возможность достать „Голый Год". Я искала и в Костроме и в Ярославле, но нигде не нашла, здесь книжные рынки очень бедны, и из Ваших книг, кроме „Былья", ничего нет. Хотела бы знать, в каком журнале Вы сотрудничаете. Видела Вашу фамилию в „Русском Современнике", но это было еще летом, так что теперь не знаю, в какое издательство писать.

„Простите за непоследовательность мыслей и фраз. Но я пишу между делом—тороплюсь на поезд. А потом вообще человек страшно непоследовательный. Если надумаете написать, то вот мой адрес.

Чувствую, что надоела Вам, а потому спешу кончить.

Валентина—Тезка.

Р. S. А все же таки напишите мне, я буду ждать".

Прочитал и вспомнил девятнадцатый год, шпалы, степные ночи, рыжую девушку со стремительными движениями. У меня в кармане лежал документ: „рабочий-наборщик Коломенской типографии",—липовый документ, но я ехал с коломенскими рабочими; тогда откупались целые вагоны, и они аргонавтили по степям за пудами ржи в войнах с заградительными отрядами,—и соседним аргонавтским кораблем был вагон иваново-вознесенских ткачих; я был уполномоченным нашего вагона, уполномоченной ткачих была рыжеволосая девушка; и вскоре узналось, что она такая же „ткачиха", как я—„наборщик": она только что окончила гимназию, собиралась или в Москву на курсы, или в село в учительницы. В памяти моей не сохранилось, чтобы я добивался ее так, как написала она в этом письме, мы все тогда были в полубреде и за гомерическими матершинами в борьбе за кусок хлеба, за мешок муки (под тяжестью которого до слез больно подгибались ноги этой рыжеволосой девушки), а мы только двое в этом человеческо-волчьем бреду были одинаковы по происхождению и культурности... Прочитал письмо, думал, как далеко ушел от меня девятнадцатый год, когда я в безвестности писал первые свои рассказы и жил рядовым мешечником,—решил, что этой девушке напишу письмо, правда, решил чуть-чуть спровокатить, чтобы вызвать ее на откровенность, чтобы узнать чужую жизнь. Показал письмо Замятину, он говорил лирические слова о женственности и о лирике женщин, предположил,

что эта девушка хочет в письмах рассказать мне, далекому, о себе и что у нее какие-то горести. Мне приятно было так думать, как думает Замятин, и приятно было его слушать. Весь тот вечер я вспоминал рыжеволосую девушку и думал о девятнадцатом годе. И всем показывал это письмо, потому что, в сущности, в моем „разнообразии“ бытия, в том „кувшине“, который нельзя опрокинуть,— и очень большое однообразие и всегдашняя радость все расплескать.

На утро я писал то, что было на очереди. В сумерки я написал ей, этой девушке, письмо. Вечером мы собирались слушать Андрея Белого. Я дал Феде прочесть письмо девушки, он тоже, как Замятин, говорил лирически по поводу него и записал себе, чтоб на утро распорядиться отослать мои книги ей. Ольга рассказала мне содержание рассказа Марселя Прево, которого я не читал, где рассказывается, как из Парижа приехал молодой чиновник в провинцию и тишину, где дни плетутся, как годы, там он встретился с женщиной, женой мужа, у них была мимолетная связь, он говорил ей прекрасные слова и уехал обратно в Париж; она мечтала о нем всю жизнь, о том, что в Париже есть человек, который любит ее, которого любит она,—эта любовь скрашивала ее годы и ее жизнь, у нее было оправдание буден, и она могла жить ожиданием... А он, тот молодой чиновник, у которого были тысячи связей, делал карьеру в Париже и министром приехал в город, где жила любящая его женщина. Она пошла встречать его на вокзал, и он прошел мимо, не заметив и не узнав ее...

Я написал этой девушке:

„Тезка, здравствуйте.

„Ваше письмо передали мне. Помню то лето, те мытарства, шпалы и теплушки. Помню Вас, Тезка, Ваши рыжие волосы, Вашу особливость от всех, тот пригорок у шпал, где в синей ночи мы караулили тишину и звезды.

„В Вашем письме прозвучали, мне показалось, горькие обо мне нотки: говорю правду, никогда там, в этом нашем „шпальном“ прошлом, ни на минуту не хотел сделать я Вам больно и нехорошо,—впрочем, годы заставили Вас передумать обо мне. Вы написали искренно и заговорили о том, о чем так трудно говорят женщины,—я не принимал наши отношения такими, как показались они Вам. Мы встретились на минуту, в далеком прошлом, на шпалах,—Вы написали искренно и просто—и давайте будем писать друг другу по-хорошему, о самом главном, о чем не говорят... Хорошо?

„Вы пишете, что я был великодушен, Вы пишете, что „на свете столько зла и насилия“ и что Вы стали совсем другой. Я помню ту рыжеволосую девушку с такой стремительной походкой. Что стало с ней, с этой девушкой, как прошли эти ее пять лет, какие обиды и какие радости принесли они, самое главное—в чем? Я знаю как трудно писать о том, о чем не пишут,—так Вы присылайте все, что напишется, как напишется, со всеми помарками,—мне все будет дорого от Вас. В Вашем письме есть надломанность, чуть-чуть боли,—да,—„человек страшно непоследователен“. Все, все напишите мне. Я так хорошо помню сейчас ту караульную тишину, шпальные пути и те дни с Вами, и Вас.

„Что же сказать о себе? Буду ждать Вашего письма, чтобы знать, что Вы хотите знать обо мне, все расскажу, как есть, как было. Что же, я—писатель, пишу книги, пишу про свою и чужую жизнь, плету вымыслы с явью. Быть может, Вы слышали, что мне выпала горькая слава быть человеком, который идет на рожон. И еще горькая слава мне выпала—долг мой—быть русским писателем и быть честным с собой и Россией. Я живу в Москве,—тоже и у меня многое унесли эти годы, ударило мне тридцать, пришло мужество,—те далекие шпалы мне кажутся путем и преддверием к тому, что вокруг меня.

„Всего хорошего Вам. Письма Вашего жду. Руку Вашу целую крепко.—Вы написали, что благодарите меня, потому что я „поступил великодушно“ и сейчас же противопоставляете этому зло—почему“?

Такое письмо написал я. Федя (он же Давид Кириллович) отослал мои книги с препроводительным письмом, „многоуважаемая“, „ваш покорный слуга“.

И я получил ответ:

„3/XII—24 г.

„Прежде всего искренно, от души благодарю Вас за книги. Вы мне доставили громадное удовольствие. Их я еще не прочла. Хотя если б и прочитала, едва ли бы написала свое мнение о них. Это было бы, пожалуй, немножко смешно и нелепо. Мне ли, посредственной и обыкновенной женщине, давать отзывы о произведениях, когда о них говорит Троцкий и другие известные и влиятельные личности. Еще раз благодарю, большое, большое спасибо за них. Теперь о письме. Его я получила, прочла и то, что не совсем поняла, прошу объяснить Вас. Мне хотелось бы знать, что Вы в письме своем называете „главным“, разве то, о чем Вы сказали „трудно говорить“, есть самое главное. Может быть, оно могло быть главным для меня, для других, а разве Вы физиологическое влечение полов считаете главным. А разве Ваша работа, занятия, общественная жизнь не есть самое главное. Может быть, я не так поняла—тогда объясните. Потом скажите, почему Вы думаете, что женщины вообще трудно говорят об этом? Разве? Я лично смотрю на вещи проще и шире и не нахожу, что было бы трудно и неудобно говорить о чем бы то ни было, тем более с мужчиной, да еще в письме.

Теперь о себе.—Через полтора года после поездки за хлебом я встретилась с человеком, с которым суждено было разделить самые красивые, высокие и в то же время обыкновенные переживания. Впрочем, оговорюсь, у нас они были, может быть, слишком необыкновенными, так как по темпераменту оба слишком эксцентричны. Это было в Плесе. Природа, молодость, красота переживаний,—ну, чего бы еще надо. Казалось, любили друг друга безумно!—Однако вышло не так, как у всех: часы волшебных снов сменились ужасными часами нечеловеческих мучений. Мучили друг друга до исступления, до сумасшествия и отчаяния. Мучили без всяких причин и поводов. Дело доходило до того, что у меня отнимали из рук яд и считали за психически-больную. Несколько раз собирались разойтись, но разве могли это сделать, когда что-то было

настойчивее и сильнее нас обоих. И снова часы мучений сменялись сладостными часами безумной страсти... Так прошло больше двух лет. Красивые переживания стали терять свою остроту, да и характеры стали более уравновешенными. Стало скучно. Я чувствовала, что так продолжаться не может; знала, что если останется в таком положении, будет сплошная неудовлетворенность, апатия, скука. Собралась и уехала. Вот теперь живу в К., муж мой близ Я... Когда делаемся необходимыми друг другу, я езжу туда: так лучше—красивей и полней течет жизнь. Мне здесь хорошо. Я учусь—получаю специальное образование, а какое—скажу в другой раз.

Пока всего доброго, славный мой попутчик!

Пишите!

Тезка".

Письмо принесли утром, за работой. Прочитал и понял, что с этой попутчицей мои пути никогда уже больше не сойдутся, что и Ольга, и Замятин, и Федя, и я—плохие мы психологи, что не так уж страшно, что растут мои полки лет и книг и что скучно бывает беречь кувшины мозгов... А рыжую девушку—из того шпального девятнадцатого года—простит бог.

И тогда я думал—вот о чем—

—мой товарищ, писатель, старик, одинокий человек, оторвавшийся от этих наших дней, донашивающий пальто, сшитое в девятьсот десятом году, небритый; в его комнате, бывшей ранее мастерской художника, на чердаке, горько пропахло старческой псиной, от девятнадцатого года застряли в комнате нищета, убожество, грязь, сбитые валенки, махорка, как в нем, в человеке, застряла от того же девятнадцатого года старческая чудаковатость, придурь. Его, этого моего друга, все забыли,—я остро присматривался к нему.

И вот было сентябрьское утро, моросил дождь. Он проснулся и встал со своей койки, пропахшей человеческой нечистотой, еще до рассвета, в тот час, когда люди, не досыпая, всегда чувствуют себя несчастными. На спиртовке он скипятил себе чаю, пил не спеша и потом, надев свое многолетнее пальто, пошел вон с чердака. Он никогда не спешил, переулочками он вышел к трамваю и с первым трамваем, 4-м номером, поехал на Ярославский вокзал. На первом дачном в мутном сиротстве сентябрьского утра он приехал в Лосино-Островское. Там прошел он дачные поселки, перешел речушку, прошел деревней,—ушел в лес... И там в лесу он раскладывал костер, сырые сучья горели медленно, дымили, чадили, убожествовали; там, в лесу, против костра, стоял высокий старик, небритый, нечистый, в пальто, посеребревшем от времени на локтях и у карманов,—стоял очень долго, неподвижно, сгорбившись, руки в карманы, смотрел упорно в огонь,—пробовал было сесть у костра, но земля была сыра и холодна. Мимо проходили мальчишки, что собирали грибы, он не замечал их, они кричали:

— Эй, старик, ты что—колдун, что ли?..

Постояли, посмотрели и пошли, и, когда они уже скрылись, он, старик, сказал, полагая, что говорит им, сказал тихо, любовно и хорошо:

— А я, детишечки, думаю, выдумываю... Так-то, ребятки...

Лес был помят сотнями тех, кто перебывал здесь за лето и годы, валялись консервные коробки, и у самого костра поблескивало разбитое бутылочное дно, деревья—ельник—стояли мокрые, затихшие, серые, дождь то переставал, то закапывал вновь, облака уничтожили небо и просторы. Костер горел скверно, не мог разгореться, коптил.

Старик вернулся домой в сумерки, опять медленно шел переулочками и дома, у себя на чердаке не спеша растапливал железку, не спеша грел чай и вчерашнюю кашу. Пообедав, он лежал на кровати, прикрывшись тем же—промокшим—пальто, в котором был весь день, на ноги надел разбитые валенки, читал старую толстую книгу: единственная электрическая лампочка на длинном шнуре с потолка была приспособлена так, что она вешалась и над кроватью, и над столом, и у железки. Это был седьмой этаж, где жил старик-писатель, и сюда не доходили уличные шумы.

К полночи он отложил книгу, перевесил лампу от кровати к столу, с одного гвоздика на другой, вынул из стола толстую папку, разложил рукописи на столе и на новом листе, где наверху в углу стояла цифра страницы—437,—стал писать, продолжать свой роман, почерк его был старчески крупен и неразборчив.

Он писал:

„...была весна. День шел к вечеру. В лесу не смолкли еще кукушки, но запел уже соловей. Из лесу пахло ландышами. Под горой протекал Днепр. Анатолий приехал на челне из-за Днепра и поднялся на гору, когда вдали за горами уже поднималась огненная луна. На условленном месте Лизы не было. Анатолий сломил старое дерево, разложил костер и лег около него. Костер загорелся быстро, палевыми огнями в черное небо полетели золотые искры. Днепр потонул во мраке. Анатолий лежал против костра, смотрел на огонь и думал—о весне, о молодости, о Лизе... Надо было сегодня встретиться во что бы то ни стало, челн ждал под обрывом. И тогда неслышно к костру подошла Лиза, в белом платье, сама молодая, как весна. Красные отсветы костра делали ее смуглое лицо"...

Написав этот абзац, старик задумался, опустилась рука с пером, глаза стали пустыми так же, как днем в Лосино-Островском в лесу,—пустыми и беспредельно-добрыми, милыми, всепрощающими, а рука с забытым в пальцах пером была старческой, морщинистой, неопрятной, с грязными ногтями, и с грязью, въевшейся в поры. Под дешевой электрической лампочкой на столе, рядом с рукой и рукописью, лежал черствый огрызок черного хлеба. Этот старик, мой друг, писатель, не был талантливым писателем, революция его не печатала,—он писал только для себя, в стол, для смерти...

...Вечером я прочту этот мой рассказ Ольге и Феде, и пусть они скажут мне, правильно ли сделал я, расплескав мое тесное время этим рассказом. Я же сказал уже, что словами беременею я и—можно орать, как закричала бы, должно быть, кошка, если бы ей не дали возможности найти темного угла, чтобы разродиться.

ПУГАЧЕВЩИНА.

ЛЕДОХОД.

(Стих напевный.)

Ив. РУКАВИШНИКОВ.

Ой, казáчки-молодухи,
Бабы-бабоньки.
Вы сбирайтесь, бабы-бабоньки,
на крут бережок.
Вон уж Яик вздулся,
Яик лед поломал.
Ой, казачки-молодухи,
Бабы-бабоньки,
Лед пошел.

Вы берите, бабы, жерди долгие, багры.
Становитесь, бабы, в ряд на бережку.
Бабы-бабоньки, молодушки.

Ой, лед идет.
Ой, лед идет.
Ледоход гудёт.

Со льдом наши казаки плывут.
Казаки молодчики, буйны головы,
Всё-то наши яицкие,
Только не живые, мертвые.
Саблями порубанные, копьями поколотые,
Ружьями да пушками побитые.
Всё-то наши яицкие,
Всё-то за вольну волюшку жизнь кончавшие.
Ой, казáчки-молодухи,
Бабы-бабоньки,
Казаков вы к берегу прибагривайте,
Да опознавайте—разглядывайте.
А которая баба-бабонька заплачет, заголосит,
Та казачка, стало, не молодуха — вдова.

Вы кричите — голосите, бабы-бабоньки,
Вдовы казацкие,
Тешьте горе свое горькое.
Ты плыви, казак, по родному Яику,
Спознавай, ищи, казак, очьми свинцовыми
вдову свою.
А который казак не опознан проплыл,
Тому казаку до другой до станицы плыть.
В другой станице вдову искать.

Ой, казáчки-молодухи,
Бабы-бабоньки,
На берег, на берег.

А вы, казацкие матери
Да бабки-старухи,
Вам позадь стоять,
Над сынами, над внуками голосить, жалковать,
Когда время придет.

А вам, невесты казацкие,
Вам по домам сидеть,
Ждать, что люди скажут.

Ой, лед идет.
Ой, валом идет.
Ледоход гудёт.
И бьет, и трет.
Ледоход гудёт.
Весну ведет,
Весну бабам горькую да слезную,
Казáчкам яицким.

■
■ ■

О, поле поле...

Солдат, учись свой труп носить,
Учись дышать в петле,
Учись свой кофе кипятить
На узком фитиле.
Учись не помнить черных глаз,
Учись не ждать небес —
Тогда ты встретишь смертный час,
Как свой Бирнамский лес.
Гляди! На пастбище войны
Ползут стада коров,
Телеги жирные полны
Раздетых мертвецов.
Должно быть, будет по весне
Богатый урожай,
И не напрасно в вышине
Собачий слышен лай.
О, вы, цепные мудрецы,
Мне внятна ваша речь —
Восстанут эти мертвецы,
А нас покосит меч!
В воде лежит разбухший труп,
И тень ползет с лица,
Под солнце тяжкое, как круп
Гнедого жеребца.
И полевые мужики,
Ворочая бразды,
Втирают в прах, как васильки,
Кровавых дел следы.

БОРИС ЛАПИН.

СТОЛИЦА МУГАНИ—ЛЕНИНО.

АНДРЕЙ СОБОЛЬ.

...Я еду на Мугань, — новое имя на моем пути, и странно звучит оно: Мугань, что это такое?

В Тифлисе, в солнечный день, в небольшой квартире, где живет человек, причудливо сочетавший в себе, в одном лице практика и мечтателя, марксиста и романтика, меня вводят в „курс дела". И когда сажусь в поезд — я уже знаю, что Муганская степь велика и просторна, что, упираясь одним концом в Персию, она другим шевелит воды Каспия, что возможности ее громадны и что муганский хлопок должен, должен во что бы то ни стало, выйти на советский рынок. И еще знаю: Мугань — это почти нетронутая новь, поднять ее трудно, но поднять должно, ибо — и тут я даю краткое слово человеку дела и фанатику дела: — Мугань — это кусок новых советских земель. Мугань — это форпост советской культуры. Этот кусок надо заново завоевывать. Но не пушками и не погремушками для задабривания туземцев—тракторами, электричеством, но не картечью, — а хлопковыми семенами, бешеной энергией и верой, что Мугань войдет в советское строительство полноправными и полнокровными гражданами.

— Это пустыня?

— Пока — почти.

— Недешево дается?

— Ох, очень недешево.

— А стоит ли столько сил тратить?

Негодующий взгляд-смешок:

— Поезжайте — и вы все поймете.

II.

Долог путь: поезд сменяется пароходом, пароход—тележкой, тележка — автомобилем. Вот и позади: Баку, черно-белый и бело-черный, смесь Востока и Америки, город лени и безмерного труда, и пароходишко, который везет меня сперва по Каспию, а потом по Куре—к Банку, к банковским рыбным промыслам, где трехэтажные груды осетров, белуг, сомов, севрюг поражают пришельца.

И эти груды, вытащенные из водных глубин, заставляют тебя невольно проникнуться огромным уважением к водным жителям и большим презрением к человеку, который вот всю эту богатырскую груду раскладывает по прилавкам гастрономических лавок.

Там же я видел горы зернистой икры, буквально горы и, вспоминая московские бутерброды, от всей души жалел московских друзей.

Кура ночью шумела вольно и дико, на деревянных помостках умирали трехаршинные белуги и осетры в собственной холодной крови.

Утром я покинул Куру, чтобы в крохотном городишке Сальяны начать свой бродячий путь по Мугани.

Сальяны — это ворота Мугани. За Сальянами конец городской культуре, удобствам, нормальному питанию, спокойному сну, книгам, газетам и пр.

Кстати, презанятный городишко: неизвестно, чем он живет и на какие средства обитатели его существуют, кроме тех, кто благоденствует контрабандой, из Персии таща опий, отрезы английского сукна, табак и английский коньяк.

Впрочем, я скоро убедился, что есть еще одна богатая отрасль промышленности: сальянцы очень усердно занимаются чисткой сапог друг другу. Такого количества чистильщиков сапог я еще нигде не видал, даже в Италии, где у каждого уважающего себя читадино обувь блещет зеркалом.

И еще нигде я не встречал такого количества... босых.

Да, чуть не забыл: сальянцы еще друг у друга покупают и друг другу продают свежую холодную воду.

В Сальянах душно, пыльно и знойно, точно в Сахаре—в Сальянах глоток холодной воды нужен каждую минуту, в Сальянах босоногие мальчишки очень музыкальны, когда они вопят:

— Вода! Хорошая вода! — ослики шарахаются, точно ошпаренные кипятком.

И в Сальянах, на какой то узенькой грязной улице я встретил первого обитателя Мугани: у забора грустно замер джапран—чудесное стройное животное, попавшее в плен к чистильщикам обуви.

Бедный джапран!—Как подкашивались его тонкие точеные ножки и как поникли грустно эти изумительные, легкие в своей конструкции рожки.

А затем я увидел странное сооружение: не то арбу, не то допотопный проект аэроплана,—четырехугольный ящик, высоко занесенный над двумя чудовищными колесами. Меня познакомили:

— Это наш муганский аэроплан. Не угодно ли прокатиться?

Знатный иностранец—я понял, естественно, понял дух и качество страны—и я вскарабкался.

Мой полет на „муганском аэроплане" был первым и последним, ибо в один миг, головокружительный и краткий, я понял все ощущения морского переезда из Ливерпуля в Нагасаки.

Сальянцы мило и весело смеялись, и тут же два охотника за обувью полонили меня. Я повис в воздухе: один чистильщик рвал меня к северу, другой — к югу.

А на Мугань я поехал старым способом — нашим, русским: в таратайке, с колокольчиками. Ох, как славно и вольно разливается колокольчик по степи, — русский колокольчик на границе Персии.

III.

Едешь по Муганской степи, едешь без конца — и ни одного жилья, ни одной души, только вечер качается, да камыш поет свою древнюю песнь, да воют шакалы, эти будильники муганские, неистребимые.

Эту землю попирали все народы. Эти просторы знали и греки, и генуэзцы, и персы, и арабы.

Людская волна прокатилась столетиями.

И ступал здесь конь великого македонца, и были тут города, дворцы, храмы, и была огромная культура и оросительные каналы, плод человеческого ума и знания живили землю.

Тогда густо колосилась земля, тогда недра сокровищ своих не прятали. А теперь — камыш, камыш и мертвая тишина.

Едешь час, другой, пятый, шестой, темень вокруг, в камышах шорох звериный — и вдруг издали свет, но не степного случайного костра, не кочевья, а ряд правильных огней, огненная лента электрических фонарей.

— Ерунда! Снится! — шепчешь невольно про себя.

Но вот рванулись лошади, понесли — и минут через десять перед тобой высокие железные столбы и качаются на них электрические шары, точно на Тверской.

Это что такое? — Шакалы... безлюдие... кабаны, шатры кочевников... где-то за сотни верст „какая-то“ цивилизация... о ней и помина нет... только зверье — и вдруг: электрические фонари.

— Приехали, — спокойно говорит мой спутник. — Вот и наш город.

— Что, город?

— Ну да, столица Мугани: Ленино.

Ничего не поделаешь, раз электричество — значит, город! Раз говорят — значит, так.

И вот я говорю:

— Столица? Это очень мило. И телефон есть?

— Конечно.

— И можно позвонить в отель, чтобы приготовили комнату?

— *Можно на тракторную базу, чтобы приготовили* „Фордзон“ для вспашки.

IV.

Этому городу от роду — года два, а начало его в ветвях огромного дерева, ибо первые жители города Ленино приютились в ветвях — вместо первого кирпича у макушки дерева хижина, среднее между гигантским скворешником и норой, — в этой хижине засели первые обитатели и зачинатели города Ленино.

Советские пионеры сперва карабкались по ветвям, а потом смастерили лестницу.

И сказал старший, не стихами, а прозой — просто и спокойно:

— Здесь будет город заложен.

— Ладно, — ответил спутник.

„Первый кирпич“ повис в воздухе.

Теперь когда в Ленине огромные электрические шары указывают линии будущих бульваров и улиц, теперь, когда в Ленине в поместительном клубе на белом экране полощутся блики кино, — эта хижина в ветвях, этот майн-ридовский приют охраняется бережно и любовно.

Это — новый и важный экспонат будущего музея на Мугани.

Этому городу мало лет от роду, но он растет, и работники Мугани, обитатели советского форпоста, верят, что дальнейший рост ему обеспечен, ибо они влюблены в свой городок, где каждая пядь его твердит о человеческой гордой энергии.

Правда, в Ленино на центральной улице после дождя утонуть ничего не стоит, и на бульваре Троцкого муганские коровы ведут себя не очень прилично, и от дома до дома шагаешь минут десять, то проваливаясь в яму, то натыкаясь на горку.

Но попробуйте только заикнуться: патриоты своего города фыркают презрительно:

— Нашелся критик, здравствуйте! А как в Америке росли города? Сразу, да? В Америке, где денег уйма, не то что в нашей нищенской России?

Перед таким аргументом я, пришелец, не испытавший всех прелестей житья в ветвях, пасую.

И вот так, из ничего, вырос новый город СССР — столица Мугани, — и кто знает, быть может, в будущем этот бедный городишко станет главным центром советского хлопка и сверху вниз поглядит на своего туркестанского собрата.

Ведь два года тому назад вместо Ленино была безлюдь, а сейчас задорно и бодро горят огни, на тракторной базе фыркают Фордзоны и гиганские ВД, готовясь в путь, чтобы вспахать и перекатавасить заснувшую Мугань, на кирпичном заводе растут груды кирпичей, — идут кирпичи на смену камышу.

Ибо дома в Ленино пока камышовые. Но подождите: кирпичный завод недаром из кожи лезет вон: будут дома в Ленино из кирпича, потом — ничего, кирпич уступит место бетону.

Я расхаживаю по городу, — „городская“ жизнь разворачивается, она не похожа на жизнь других городов, но разве сама Мугань на что-либо или на кого-либо похожа?

V.

На Мугани совершенно естественно тракторист является главным лицом.

Эти русские парни, бродяги русские, неугомонные *странники, кому в России скучно стало после НЭП'а*, живут на Мугани по особенному и работают по особенному.

Муганский тракторист, то-есть человек, орудующий Фордзоном или трактором ВД на плантациях Мугани, прежде всего и раньше отдается на съедение комарам. А потом уже следует остальное, а затем уж выползают тоже довольно веселые вещи: ночевки где попало, грязь по колено, еда в сухомятку (а иногда сутки никакой еды), умывание только в праздники,

часами на брюхе под Фордзоном, когда тот начинает капризничать, соседи—кочевники степные или шакалы; женского лица месяцами и в помине нет—и мудрено, что для муганского тракториста жизнь „начинается только завтра“. И не упрекайте его, если он вдруг начинает подозрительно покачиваться: камыш, степь, комары, вой шакалов и безлюдь требуют иногда перемены.

Муганские трактористы — это народ, прошедший сквозь огонь и воду, воистину все испытавший и все перевидевший.

Бойкие, речистые, напорные, неугомонные, обветренные, они жизнь любят жадно и все время умеют и могут работать.

И еще одно: без громких фраз, без подсказа они знают, какое огромное дело они делают и какая серьезная миссия на них возложена.

А если жизнь — есть все же жизнь и нельзя ее покрыть одними только тракторами и наполнить одной только идеей даже о самой грандиозной миссии—то будем жить, поелику возможно.

И муганский тракторист, парень в клеенчатой фуражке, весь в масляных пятнах умыкает жену субботника из ближайшей деревни,—завтра проигрывает ее в карты товарищу, послезавтра так откалывает коленца под гармошку, что держись, еще через день — хмуро просит в управлении об увольнении, ибо, мол:

— Осточертела мне ваша Мугань. А ну ее к чертям! В Россию хочу!

Но проходит неделя и, тракторист снова тут как тут. Аллах один ведает, где он шатался, но вернулся. Ибо — воистину аромат Мугани таков, что, раз побывав у нее в гостях—потянет тебя вторично.

И мнет тракторист свою клеенчатую фуражку, сам мнется, сам не знает, почему потянуло назад, но вот слышит:

— Ладно. Иди на базу—и бежит, сломя голову, к своему прежнему Фордзону, опять на тяжелый труд, опять комарам на съедение, опять на голодовку.

Ох, как я понимаю этого „блудного сына“: сколько раз я сам, в Москве, среди московских сугробов, ловил себя на мысли:

— Ах, махнуть бы снова на Мугань!

И среди уличек Арбата вдруг охватывает такая тоска по муганским степным просторам. И сладко и больно вспоминать, как розовеет степь на закате, как тянут гуси к дальнему озеру, как шумит камыш и как пахнет Мугань — запахом новой, бодрой и крепкой жизни.

Этот запах я уловил и в себя вобрал (надолго, надолго) в незабываемую ночь, когда камыш пел свою древнюю песню, небо уходило в безмерную глубину, и мы, люди нового века, сторожко поджидали кабанов.

Тракторист Феденька, на всех фронтах побывавший, дважды ранен на колчаковском фронте, парень горячий и напорный, хоть и рябой, а всех молоканских мужей держащий в панике, тихонечко мурлыкал какую то песенку, а потом оборвал ее, крякнул, вздохнул и тихо сказал:

— Эх, Мугань, Мугань! — и лег, и животом пополз к камышу, к кабанам, к звериным минутам.

В эту ночь я не подстрелил ни одного кабана, но зато я понял, почему люди, покинув Мугань, проклиная ее, комаров ее, малярию ее, все же возвращаются обратно.

▪▪▪▪▪▪▪

ЧЕЛОВЕКИ.

АЛЕКСАНДР ТАМАРИН.

На кавказской Ривьере, от Сочи до Батума, календарь особенный: здесь весна сменяет весну. Отцветают фиалки, когда воздух пьянеет от аромата роз; распускаются огромные белые чаши магнолий и... вновь зацветают фиалки.

Сегодня середина марта, а здесь все в чесуче, сарпинке и газе. Теплый бриз с моря впархивает в тихую бухту и теребит развешанные на берегу для просушки сети. Соблазнительно потягивается очнувшееся от забытья море, похлестывая по песку полусонными волнами. Отдуваясь, фыркает деловито кувыркающийся в бухте дельфин. Вдали на грани неба и моря сверкает цветными огнями и колышется радужная мантия солнца.

На пляже, у моря, песок рыхлый, влажный, пахучий—запах моря еще, к счастью, не уловлен парфюмерами. Особенно силен по утрам этот тонкий свежий аромат морской воды, свежей рыбы и водорослей.

По отлогому спуску сбегают новые курсовые. Старые, обжившиеся, спокойно спят, но новичкам, неделю назад еще промерзавшим в холодных Ленинграде, Москве и Рязани, не спится в это теплое утро здесь, в краю тепличной сказки.

Из частного пансиона бывшей княгини Сукинадзе спускаются два соседа: высокий, худой, с лошадиным профилем Балкис, не то прокурор из Москвы, не то еще выше, и кругленький, сдобный, рыхлотелый Сараев, кооператор из старых земцев.

Сараев ворчит: и песок сырой, и море сырое, и трава, и воздух, все сырое.

— Перестаньте брюзжать,—что вы все тренькаете, словно разбитое пианино!—полушутя одергивает спутника Балкис.

— А кто его разбил, это пианино?—вспыхивает Сараев.—Вы сами! Восемь лет колотили по нашим нервам, лупили по клавишам наших душ руками и ногами, раздергали, а теперь хотите, чтобы мы звучали на весь мир!

— Будете звучать,—поддразнивает Балкис,—неизвестно, кто расстроил этот до нас еще разболтанный инструмент, но настраивать его приходится нам, и надеюсь, мы скоро сыграем гимн мирового

звучания. Ну, довольно, вон катится сюда девица, эта, как ее...

— Розина из Наркомпроса,—улыбнулся сразу отошедший вновь благодушный Сараев.

— А я только что вешалась. Здравствуйте. Вы тоже пляжитесь?—кричит толстоногая с багровым лицом и руками Розина, косолапя по камешкам.—

— Что ж вы думаете, я уже взяла три фунта! Еще! Как вам нравится?

— Нам с вами прибавлять, пожалуй, некуда,— смеется Сараев.

— Пожалуйста, не равняйтесь ко мне! Я должна сделать двадцать фунтов, потому что скоро выйду замуж и, в конечном итоге, успею худеть.

Балкис хватается за грудь и кашляет нехорошим кашлем; отирает платком сгустки крови в углах губ. Оборачивается спиной к морю, глядит вверх, на горы. В сочно-зеленом халате с чалмой облаков на макушке горный кряж сверкает в лучах солнца.

— Хорошо бы нам в горы,—вслух подумал Балкис.

— Я вам задам в горы,—прозвучал сзади картавый басок, и маленький остроносый на тоненьких ножках человечек в синей косоворотке подошел и опустился на песок рядом с Балкисом.—Доброе утро! Нельзя вам еще в горы. Всякому сверчку свое время!

— До сих пор говорили,—усмехнулся Балкис,— всякому овощу свое время, и всяк сверчок знай свой шесток.

— Наплевать!—огрызается доктор, одергивая мочальную бороденку.—Важен смысл, а смысл такой, что гражданину Балкису с его легкими еще рано лазить по горам. Потому я и сказал: всякий овощ знай свой шесток! У нас новости, между прочим. Целый автобус дачников прибыл сейчас. Что ж, чем больше дров, тем дальше в лес. И еще новость: приехал Куцый, Антон Иваныч. Это нашей княгини гастрольный муж. Работает на четырех жен, и все довольны. Молодец мужчина! Из навоза золото делает. И заметьте, на таких комбинациях, на которых многие совкоммерсанты ухитряются золото превращать в навоз!

— Спекулянт?—спросил Сараев.

Доктор задумался, потер большим пальцем нос.

— Конечно, но особого типа. Новый человек. Спекулирует на идейных новинках. В прошлом году привез из Москвы физкультуру. Устроил здесь спорт-площадку, крокет, теннис. Навез футбольных мячей, трусиков, ракет, перчаток для бокса, гирь разных,—и сделал деньги. В другой раз привез военизацию. Уставчики, руководство по стрелковому делу, мишени разные, ружья, тир для призовой стрельбы, газы, противогазы, значки разные, тут тебе и авиахим и аэрофизика,— и снова сделал деньги. А вон, кстати, и он сам.

Широкоплечий в белых брюках и синем жакете, с замысловатым значком на красной розетке, свободно перепрыгивая по камешкам, приблизился рослый брюнет с головой Петра Великого. Снял панаму, поклонился.

— Знакомьтесь,—прокартавил доктор,—ну, рассказывайте, что новенького вы привезли нам из Москвы?

Куцый скрестил по-наполеоновски руки, выставил ногу вперед.

— Я привез джаз-банд,—с расстановкой заговорил он.—Последнее достижение искусства. Вся Америка и даже вся Москва увлекаются джаз-бандом. Понимаете—смычка с угнетенными неграми. В театрах, в кино, в кафе и в пивных,—всюду джаз-банд!

Розина подняла голову и спросила:

— Так это же, в конечном итоге, негры? Значит, вы привезли негров с джаз-бандом? Кстати, здравствуйте. Только знаете, говорят, что это такие звуки, которых никак нельзя слушать молодым девушкам. Между прочим, здесь производят съемки, так одна кино-фирма ставит негритянскую драму и предлагает мне играть Пальму.

— Может, березу?—ехидничает доктор.

— При чем тут береза? Пальма—это же негритянская героиня. Они мне делают грим и платят четыре рубля за каждую съемку. Деньги не важно, а важно сняться на весь мир. Вы же знаете мою фигуру, она же, в конечном итоге, даже лучше, чем мое лицо!

— Вот и прекрасно!—подхватил Куцый.—Я вам дам шесть рублей за вечер. Тип у вас самый негритянский, золотник какао в порошке, и готово. Вы будете негритянская прима-балерина. Ведь у меня, кроме джаз-банда, будет еще и негритянский балет.

— А где же негры?—любопытствует Розина.

— Негры?—переспросил Куцый.—Было бы преступно давать работу иностранцам из буржуазной Америки, когда у нас такая безработица. Я захватил в Тифлисе десяток безработных кинто, купил пять пудов какао, сотню бракованных тарелок, и несколько старых инструментов.

— А зачем тарелки?—осведомился доктор.

— Видите ли,—поучительно объяснил Куцый.— Джаз-банд приблизительно строится так: трубач колотит трубой о пюпитр, скрипач пилит смычком барабанную кожу, барабанщик колотит камертоном по скрипке. Один бьет посуду, другой свистит в граммофонную трубу, каждый играет что хочет и как хочет, только начинают и кончают одновременно все. У меня вдобавок капельмейстер будет в медвежьей шкуре, как Последний Шемет. Это модно и вполне луначарно.

— Жаль, жаль,—вздохнул доктор,—не во-время умерла моя жена. Как она играла тарелками по моей голове! Но я не считал это модным. Ну, что еще на свете новенького?

— Везде и во всем, дорогой доктор, сплошной джаз-банд,—глубокомысленно и внушительно выговорил Куцый.—Каждый играет чем попало и на чем попало, шум, битая посуда, а после концерта музыкантов везут отдыхать по 132 статье. Ну, а у вас здесь какие новости? Как погода?

— Днем солнце жарит,—докладывает Розина,— даже ожоги у меня где надо и где не надо. Вот смотрите. Зато по ночам, в конечном итоге, прохладно и луна.

— И, в конечном итоге,—передразнивает доктор,—тоже ожоги. Лунные ожоги. Такая молодежь пошла. Физкультурники, те целый день наращивают мозги в ногах, и мускулы в черепной коробке. Им не до луны. А вот другая молодежь, тоже столичная, у тех все нараспашку. Чем рады, тем и богаты. Всю ночь у моря лунные ванны принимают. И через

две недели лунные ожоги, и — „доктор, доктор, помогите, наша куколка больна".

— Ой, доктор, как вам не стыдно, ведь я же, в конечном итоге, еще девушка, — возмутилась Розина.

Вдали в порту проревела сирена.

— Однако, полдень. Идем завтракать,—спохватился любивший покушать Сараев.

Встали, отряхивая песок, потягиваясь и расправляясь. Медленно пошли вверх по тропинке, мимо виноградников и мандариновых рощ. Остановились на косогоре у мечети, где на минарете мелькнул силуэт муэдзина, затянувшего заунывный эзан. Потом свернули на кипарисовую аллею, упиравшуюся в дачу Сукинадзе. Вошли во дворик пансиона. На террасе, окутанной вьющейся розой, уже рассаживались к завтраку. Крохотная смуглая Нелька, алиментная дочь безмужней машинистки из Харькова, заковыляла навстречу Балкису. Она любила сурового дядю, который выстроил ей из песка и кирпичиков занятный домик, где спит дедушка Ленин. Балкис усадил Нельку на сработанный им из бамбука высокий стул и уселся рядом. Справа примостилась Розина. Топорща густые брови, с набитым до отказа ртом, она ухитрялась тараторить без устали.

— Вечером буду мерить матинэ с котико́вой распушкой. Хочу так сняться на фильму. Между прочим, портниха в восторге от моего тела. Недаром в Москве все иностранцы умирали за мной, а один красный профессор социальной переподготовки, ему двадцать два года, так он всегда нарочно делал мне дискуссии, а в конечном итоге, от моей фигуры сошел с ума.

Балкис морщился, кашлял, давился, прожевывая кашу. Нелька уставилась в Розину испуганными глазенками.

— Тетя, а отчего на твоей фигуре растут усики?

Сараев поперхнулся сочной кефалью с помидорами. Доктор зачерпнул вилкой бульон и пробормотал:

— Вот тебе, Юрка, и бабушкин день.

II.

Около полуночи вспыхнул пожар. Наверху у себя в комнате Розина опрокинула универсальными щипцами спиртовку. Пламя охватило занавеси, перебросилось на мебель. Сухое дерево верхней террасы огненным поясом обвило дачу. В окна врывались оранжевые и пурпуровые веера пламени, лизавшие карнизы и парапет.

В панике метались и тормошились растерянные пансионеры. Мадам Сукинадзе, княгиня и генеральша в прошлом, владелица пансиона, носилась по палисаднику с шкатулкой и каракулевым саком. Хвостом за ней ковыляла ее мать, старая салопница с болонкой в руках.

Телефон не работал; кто-то побежал за пожарными. Жильцы выскакивали из нижних комнат во двор.

— Боже мой, Нелька горит!—крикнул кто-то.

В минуту несколько человек были на террасе. Преображенный, бодрый Сараев тащил на себе лестницу с голубятни. Балкис сорвал конец гамака с ветки чинары, доктор срезал веревки, протянутые для просушки белья. Установили лестницу, и Балкис быстро вскарабкался наверх, где уже трещали обгорелые стропила, и пылала площадка, единственная связь двух этажей. Не обращая внимания на вопли обезумевших женщин, Балкис выхватил из рук матери Нельку, закутал в гамак, и затянув узел, бережно спустил вниз на руки Сараева. Тот осторожно подловил ребенка, отдал какой-то очнувшейся старухе и вновь стал у стены, отряхивая с головы и плеч сыплющиеся сверху головешки и пылающие обломки. С дикими воплями и визгом спускалась в гамаке Розина. Доктор, кряхтя и отплевываясь, оттащил ее в кусты. Потом спустили Нелькину мать, каких-то старух и пару фоксиков с Нелькиным котенком. С обожженными лицами, обгорелыми волосами спускались один за другим возбужденные борьбой мужчины. Балкис подошел к фонтану, обмыл лицо и, жадно вдыхая воздух, быстро направился к Нельке. Ребенок нисколько не пострадал и большими испуганными глазенками охватывал необычную картину. На газоне под темнолистной магнолией стонала Розина.

— Ой, мое „Коти", мое заграничное белье!

Прибыли пожарные и заливали огонь. Из кустов выскочил Нелькин котенок со вздыбленной шерстью и вздернутым хвостом. За ним, радостно лая и визжа, скакал юный фокс. Сквозь чащу деревьев потоком брызнули лучи восходящего солнца. В древесной листве бултыхались и чирикали встревоженные птички. Мадам Сукинадзе рыдала, вскрикивая:

— Такая дача, и из-за кудлатой идиотки!

— Не смейте меня оскорблять!—взвизгнула Розина,—и без этого на вашей поганой даче, которая горит от каждых щипцов, я потеряла все свои фунты!

Балкис с уснувшей на его руках Нелькой подошел к работавшим с пожарными Сараеву и доктору.

— Пойдемте вниз в гостиницу. Надо бы помыться и отдохнуть.

— Устали?—лукаво улыбнулся Сараев.

— Да, устал, — с потеплевшей вдруг улыбкой ответил Балкис.—Очевидно, все люди—человеки, и изнашивается не только пианино, но и пианисты и настройщики. Ну, а вы как, товарищ инструмент?

— Я?—осклабился Сараев,—я сегодня впервые за девять лет забыл об усталости, товарищ настройщик.

Свежий и нарядный с букетом пряных тубероз в руке появился Куцый, слегка покачивающийся. Увидев пожарище, вздрогнул, выронил цветы и споткнулся о Розину.

— Не смотрите на мои ноги, я без чулков!

— Посмотрите на княгиню!—Она сейчас устроит Куцому джаз-банд кастрюлей по башке!—пробормотал доктор, догоняя Балкиса и Сараева. — Повадилась вода к кулику ходить, туда ей и дорога.

ПАРИЖ.

(Из театрального блок-нота.)

ИННА ЧЕРНЕЦКАЯ.

1.

Париж—это фокусник. Ему две тысячи лет. Но подрумяненный, он юн, молод и обольстителен. Это—беспутное очаровательное существо, греховное и пьянящее, радостное, заполняющее и опустошающее вас.

Парижанин мчится, окрыленный своей фантазией; слегка взвинченный алкоголем, он легко и грациозно летит на огонек,—туда, где светло и весело. Цель: улыбка, радость, забытье. Парижанин „всегда готов!"—о, не на борьбу,—готов к наслаждению, веселью, „случаю". Он завоевывает ежедневно—проходящую ли мимо женщину, случайную ли улыбку, завоевывает день, час, миг...

Работа во всех отраслях труда (фабрики, конторы, музеи, базары, магазины и т. д.) кончается в 5—6 час. дня. Но с 12 до 2 все свободны (время завтрака). Метро, такси, трамваи выбрасывают на улицу миллионы людей: каждый обязательно встречается со своей подругой (amie) и, поцеловавшись нежно здесь же на улице, абсолютно не стесняясь (ибо такая громадная толпа родит чувство одиночества), идут завтракать. Из завтрака делают культ. Сидят два часа, пьют вино, делятся мелочами—печалями и радостями. Это те, у кого есть подруги. Другие, одинокие, за два часа ищут себе друга и часто находят его скорее двух часов. Выходит парижанин всегда подтянут, чист, брит и надушен. „Всегда готов"—ибо вдруг он может встретить „ее", „его".

Два часа дают ему отдых, улыбку, поцелуй. Без четверти два он бежит на службу, где сидит до 5—6 часов. От 6 до 8 вечера—обед. Та же картина... Отдохнув до девяти часов, он опять „готов".

Готов провести всю ночь, как угодно, смотреть танец или драму, или женщин—хорошо одетых и хорошо раздетых,—пить, смеяться, любить.

В Берлине концерт кончается в 9—10 час. вечера. И прослушав внимательно 28 песен Winterreise, прекрасных и проникновенных, но однообразных и монотонных, немец идет домой. В Париже же концерт начинается в 9—10 час. вечера, кончается в час, в два ночи. Программа должна быть на четыре часа, не менее, и здесь тебе не Winterreise и не вечер Шумана, Вольфа или Шуберта—о, нет. Наслаждение должно быть разнообразное. А потому: в концерте участвуют фокусник, труппа собак, Кузнецова-Бенуа, клоуны Фрателини, танцовщики Сахаровы, лучшие певцы из Opera и не менее прекрасные медведи, знаменитые поэты, жонглеры. Вся эта программа должна не утомить, углубить или, сохрани бог, заставить задуматься очаровательного парижанина.—Наоборот. Программа должна взвинтить, подтянуть, подбодрить, развлечь его, должна вызвать желание не итти спать, а итти или к своей подруге, или на Монмартр, Пигаль и т. д., где можно веселиться до утра. На службу он не опоздает. Ванна, массаж освежают его, и ровно в 9 часов утра он на месте. Правда, иногда вместо кофе он выпивает другой напиток (не даром существует „апперитив"), и все бары утром полны прилежными французами, спешащими на работу. Работает он корректно, не тратя души и сердца (он хранит это для более нужных случаев жизни).

Утром, следя за идущими на работу женщинами, вы можете быть в курсе серьезного дела. Вы узнаете последнее слово моды. Если это начало месяца, то вы первая с гордостью можете сообщить своему другу за обедом, что сейчас уже не носят пышных воротников или длинных рукавов и т. д.

Можно не читать газет, можно не знать, какой главный город Испании, можно не знать, кто такие Гете, Толстой и даже Анатоль Франс, но не знать, что дамские цилиндры вышли из моды, что уже не носят туфель с острыми носками—*этого не знать нельзя.* Я серьезно заявляю, что самые достойные французы, а через несколько лет жизни в Париже и русские, этого не простят. Это не только повод разлюбить женщину, это повод для развода. А потому, конечно, чтобы все были в курсе серьезного дела, необходимо, чтобы каждый спектакль, каждый концерт показал последние моды.

В пьесе Батайля или даже в „Идиоте" Достоевского показываются моды. Делаются просто вставки. Если в пьесе есть бал, то гости приходят, одетые от Пату и Пакена,—и об этом пишут в газетах.

А в „Идиоте" Ида Рубинштейн показывает двенадцать туалетов, правда, по рисункам Бенуа, но исполненных Пату. Шик, грациозность, женственность должны быть показаны,—без этого не стоит

смотреть спектакля, не стоит ходить в кафе, кино, балы и т. д. Результат этих требований ясен.

Артистка, да и вообще женщина, должна быть одета по последней моде и уметь со вкусом показать свою фигурку.

Одна видная артистка была приглашена в салон в 4 часа дня на концерт и должна была получить хороший гонорар. Шелковые новые туфельки подвели ее, она потеряла заработок: в 4 часа не носят черных туфель. Гораздо важнее быть одетой ко времени, как полагается, чем иметь хороший голос.

От 5 до 7 любая мещаночка, не удовлетворенная скудными заработками законного мужа, подрабатывает на стороне, чтобы не опозориться „перед всем светом".

Манера одеваться, умение показать свою внешность с лучшей стороны—вопрос колоссальной важности для Парижа. Всем женщинам на улице или 25 лет или 70. Другого возраста не должно быть—значит, его и нет.

Самой замечательной артистке Франции Мистенгет 50 лет. Она с ума сводит весь Париж своей юностью, задором, смехом, легкостью и шармом. Она появляется то рваным клоуном, то торговкой, то божественно одетой лэди, то блестящей мидинеткой.

Она здорова в своей порочности, молода в 50 лет, элегантна в рваном платье и остра в своем цинизме, она—а это главное,—она театральна по своей сущности,—она парижанка.

Евреинов говорит, что театральность—наше шестое чувство. Этим шестым чувством обладает всякий парижанин, начиная от директора Лувра, кончая торговкой яблоками. Прежде всего театральна улица.

Между театром Трокадеро и входом на выставку находится временная ярмарка, которая торгует всю ночь напролет. Ничего более театрального мне не приходилось видеть.

Гуляют по ней люди всех мастей. Балаганы, фокусники, маленькие цирки, борцы, лиллипуты, великаны, звери, татуированные черные красавицы с мешком на спине, в котором спит ребенок... Ребенок живой, но мне казалось, что он из бронзы. У красавицы волосы переплетены золотой проволокой, в ушах и в носу—кольца, по пояс она голая, рост высокий, поступь гордая, здоровая. И эту красавицу не показывают за деньги; она сама зритель—спокойно ходит и смотрит кругом.

Дальше... Вход 30 сантимов—3 копейки. Вы видите красавцев-негров, борцов, танцоров, а рядом—стрельба в цель; если попадете в точку—голая женщина сваливается с постели на пол.

Дальше... На фоне свиста, гула, смеха и света, света, бесконечного света, вы видите, нет, не видите, а слышите взлеты горящего золота в небо. Вы не понимаете, в чем дело: это—золотые быки, разъяренные громады пляшут. На их золотых рогах сидят люди, сидят маленькие женщины... Все вместе движется вокруг золотой спирали—это карусель, где вы за две копейки можете приобщиться к оргии. Художники, создавшие эту карусель, придумали так, что как бы вы ни сели—поза ваша по отношению к быку будет осмысленна, весела и задорна, и рядом сидящий на другом быке поневоле должен быть вашим партнером—знаком ли он вам или нет. Вертится не только круг карусели, но подпрыгивает каждый бык, прыгают и движутся плакаты, лампы, шары; одни быки вертятся в одну сторону, другие в другую—любой режиссер может здесь поучиться динамике.

Дальше... Другое чудо театрализации. Опять карусель, но уже не быки, а человеческие фигуры. Работа лучших художников. Фигуры в 6—7 раз больше нормальной. Громадный повар держит блюдо, и на блюдо садится, конечно, живая маленькая женщина. Преподнести француженку на таком золотом блюде мог придумать только Париж. Громадный рабочий держит на спине подставку для кирпича, но вместо кирпича он несет живое веселое существо. Замена холодного камня живым существом удачна. Все довольны: и каменщик, и шалунья.

Следующая фигура: старый неудачник протягивает руку с просьбой обратить на него внимание. Рука—сидение. Но сесть можно только так, чтобы очутиться к нему спиной. Жалости Париж не знает. Сидящая, отвернувшись от неудачника, сталкивается со своим соседом по карусели, и оба довольны.

Смеются быки, открыв золотые пасти, радуются пассажиры, танцуют плакаты, зажигаясь в разных концах карусели. Дождь, электрический дождь из миллионов лампочек, падает с неба.

Ясно, что вы присутствуете на замечательном спектакле режиссера, имя которого—Париж.

Около Елисейских полей выстроен новый „павильон мод". Вход 5 франков. В павильоне тишина, хотя много народу. В храме громко не разговаривают. Синий мягкий свет... Издали доносятся звуки оркестра... Его не видно.

Продавщицы в черных закрытых платьях подводят вас к восковым куклам.

Придать такие выражения лица каждой восковой и деревянной фигуре, так группировать тела и линии, так связать позу с костюмом, так осветить, так заставить звучать оркестр может только большой режиссер театра.

Вы поняли, что вот эта носившая утренний домашний туалет женщина нелюбима своим мужем. А та в бальном платье—одинока, хотя богата и красива. Печально ее лицо, еще печальнее ложатся складки ее платья. А ведь это не театр, а лишь магазин, где можно купить себе платье... Это магазин „мадам Делонэ".

Весна. Апрель. Улица... Празднуют день „Королевы королев". Каждый квартал выбирает самую красивую девушку из бедной среды (приказчицу, кухарку—кого угодно). Из всех красавиц выбирается одна—королева королев. Ее встречает народ, все в масках, костюмах, ведут к президенту республики. Он дарит ей бриллиантовое кольцо и лучшие наряды от Пакена, садится с ней в карету, и цугом из восьми лошадей они едут по всему Парижу. Одетые в маскарадные костюмы пажи, министры, сановники провожают их. Весь Париж на улице... Все дают присягу королеве. Это—микарем.

2.

Но Париж дает присягу не только одной королеве. И revue имеет своих подданных—верных и преданных.

В театральной жизни Парижа revue—явление значительное. Характер обозрения оно давно потеряло. Программа готовится полгода, затрачивается несколько миллионов франков, показывается 600—700 костюмов. Лучшие портные, ювелиры, шляпочницы и „дома мод“ делают себе рекламу и демонстрируют свои работы. Несколько блестящих актеров легко и остроумно веселят публику. В каждом revue есть одна первоклассная красавица, в роде бывших Кавальери и Клео-де-Мерод. Кроме того, в каждом revue есть несколько десятков идеально сложенных девушек, их показывают совсем обнаженными.

Поддерживают ли они занавес в замысловатой позе, изображают ли фонтан (и в такой позе, несчастные, просиживают 20 минут, пока идет действие), сидят ли в виде вазы под „севрский фарфор“—их тела умело использованы, и они радуют глаз.

А скромный русский глаз через десять минут привыкает к голизне и даже потом ее не замечает. О французе говорить нечего: он привык к голизне на сцене, и без нее сцены вообще себе не мыслит.

В этом revue работают лучшие художники. В больших музыкантах revue не нуждается. Технически все здесь изумительно. Один сложный номер со слонами и 300 человеками сменяется в секунду другим. В течение 5—8 минут вам успевают показать 400 костюмов—оригинальных, смелых, острых.

Выходит голая, прелестно сложенная женщина в туфельках со сказочной муфтой и шляпой. Шляпа вышиной в аршин и в полтора аршина шириной. Все это из перьев. Перья висят, летят, пляшут, смеются, лицо холодное, мертвое, красивое.

А муфта... о ней можно писать целые книги.

То рука с муфтой повторяет жест Венеры, то она скромно прячет лицо, обнажая тело.

А испанский костюм?..

На обнаженное тело одевается замечательной формы черное кружево. Тело разнузданно пляшет, а кружево хранит тайну скромной прелести.

Эксцентрический костюм доведен до крайней смелости, оригинальности, логического безрассудства: к коленям прикреплена искусственная голова. На ноги от колен одеты рукава, на ступнях—перчатки. К рукам, на которые одеты туфли, прикреплены платьице и штанишки. Живая голова спрятана в складках кружева. Стоящая, „вниз головой“ фигура пляшет. Танец оригинален, смел и крайне эксцентричен. А парики?.. Из чего только они не сделаны! Из крашенного дерева, золоченых орехов, само собой разумеется, из шелка, материй, лент, картона, цветов. Изощренность дошла до апогея.

Самое интересное и значительное в театральном мире, вернее, в танцовальном,—это Гофмансгерлс.

Существует крупная организация, где фабрикуются танцовщицы новой формации. Гертруда Гофман имеет во всех городах Запада свои труппы по 20—30 человек. Девушка из такой труппы, 20-летняя американка, имеет богатую, разнообразную технику: балетную, пластическую, цирковую и другие. Во-первых, она могла бы блестяще работать в цирке, быть акробаткой, первоклассной гимнасткой, жонглером и т. д., во-вторых, классической балериной, в-третьих, прекрасной эксцентрической танцовщицей и—уж это само собой—очаровательной женщиной для салонных модных фокс-тротов. Они, а их 30 человек в труппе, заполняют почти все номера: драматические, характерные, танцевальные, эксцентрические и цирковые. Весь передний занавес состоит из лент—крепких и ярких. Девушки взбираются на ленты до верху, принимая самые замысловатые позы: (мосты, рыбки, арабески и т. д.) и, качаясь, летят в публику до 10—12 ряда. В результате полетов постепенно образовываются сплетения из двух-трех тел, дающие картину кружевного занавеса...

Летят дальше, меняют позы,—получаются все новые и новые сплетения и рисунки. Все это легко, весело и грациозно, а главное—чисто сработано.

В следующем номере мы видим ящик в 10 аршин ширины и 8 арш. вышины. Ящик простой, ящик с карандашами и пастелью. Крышка подымается, и девушки, одетые во все тона пастельных красок, мирно и тихо „лежат“, т.-е. стоят, ибо ящик поставлен перпендикулярно. Ящик состоит из трех рядов. Первый ряд—тона охры—постепенно переходит в лимонную краску. Второй этаж—сиреневая краска—постепенно переходит в густую лиловую, и третий этаж—от розового до оранжевого. Гамма красок сохранена не только в каждом ряду, но и в каждой девушке в отдельности, от туфель до парика и грима.

Просыпается один этаж, сходит на „полотно“, т.-е., на землю, чтобы сделать воздушный и легкий рисунок. Второй этаж спускается, за ним третий, и на пуантах, не хуже первоклассных балерин, под музыку Шубертовских вальсов, очаровательно двигаются.

Еще номер. В эксцентрических костюмах, в цилиндрах, с криком, визгом под джаз-банд выходит ряд девушек, все как одна, и пляшут канкан. 30 ног, как одна, подымаются выше головы, руки хлопают по бедрам, головы отлетают назад и вперед, тела то как струна вытянуты, то становятся на мост. Сами девушки, как ударный инструмент, звучны, упруги, примитивны и бодры. Ритм такой четкий, ясный, что зрителю поневоле делается легко и весело.

Следующий номер программы—японская картинка. Японская уличка, закоулок и рядом—домик. Девочки, а может, уже гейши, бегают, играют и шалят. В молодого англичанина, случайно забредшего сюда, попадает брошенная во время игры туфелька японки.

Японка красива, туфелька мала, англичанину весело, и он прежде, чем вернуть туфельку, кладет в нее цветочек. Японочку цветочек не огорчил, но рядом стоящий японец не допускает такого оскорбления. Возмущение растет,—и группа мужчин пригвождает преступника в позе распятия к стене. Здесь-то главное и начинается. Во-первых, танец

мести японца с японкой — жуткой, острой трагической мести. Это — драматический танец, мимодрама, просто драма в танце. Так, чувствуя приближение смерти, могла танцовать только Гонако.

В англичанина начинают бросать ножи, их сотни, но все же ножи попадают пока еще не в него, а образовывают рамку вокруг его тела. Все тело — руки, ноги, шея, голова, — в тесной стальной острой броне. Чтобы так бросать ножи, а они метко застревают в стенке, надо быть блестящим жонглером. Но возмущенный японец — прекрасный танцовщик, а не жонглер.

Действие идет дальше. Последний нож должен попасть в грудь преступнику, — измученная японка не выдерживает и заслоняет его собой, погибает от попавшего ей в сердце ножа. Платье срывают, и, окровавленная, она тихо и медленно умирает.

Аплодисментов нет... Тишина от впечатления? Нет!

Незачем тратить время.

С шумом и блеском занавес взвивается, и на сцену выносят букет цветов величиной в 15 арш. — то не цветы, то женщины — цветы жизни, правда, подрумяненные и слегка подержанные, но разбираться некогда.

...Блестят, смеются, — и ладно.

Некогда, некогда — следующий номер программы...

Раз в году, весной, художники левого направления устраивают бал. Бал „Большой Медведицы". Несколько громадных залов с амфитеатром. На стенах картины крупных художников — Пикассо, Фужета и др. Сцена. На ней выступают в необычайных для себя ролях литераторы, художники, артисты, поэты. Громовой оркестр. Тысячная толпа. Радио-аппараты помогают оркестру, и он слышен в самых дальних углах залы. За столиком в дальнем углу или на эксцентрической лестнице, где вы пьете вино, между одной и другой фразой вы под радио можете танцевать. В толпе лучшие художники, поэты, артисты всего мира. Это — смелое талантливое веселье. Чем нелепее, тем лучше.

Уметь веселиться сочно, звонко — также трудно, как написать хорошую книгу, веселятся не в одиночку, а коллективно. Знаменитый художник Фужета — японец тонкий и грациозный — одет в розовое трико и золотой парик — одет Евой. Ему сорок лет, и это очень большой и серьезный художник Парижа. Его дама — негритянка в громадном зеленом парике: — тело естественно черное, вся голая, на бедрах тоненькая малиновая ленточка. Сочетание этой пары изумительно.

Другая пара. Два египтянина. Голое тело, выкрашенное в лиловый цвет — он. Красно-кирпичное голое тело — она. У обоих на бедрах маленькие египетские повязки. Но почему египтянка танцует фокс-трот, а не египетские пляски? Здесь все можно. Но зато египтянка, выкрашенная в кирпичный цвет, не станет танцовать с мужчиной в костюме Рококо. Это — кощунство для глаза художника — это грех! На сцене прима-балерина шведского балета с известным клоуном Фрателини играют на непонятных инструментах. Но так как шум мешает их слушать, то, отказавшись от игры, они начинают плясать — она со стулом, а он со случайно появившейся в публике маленькой обезьянкой. Импровизация замечательная.

Важен не номер программы — важно веселье. Важно не „что", а „как".

В театре нет сквозного действия пьесы, а вот на балу оно есть. Стержень его — искусство, творчество, фантазия. Этим оправдывается все.

3.

Сам Париж, улицы, авеню, площади, — словом, макет Парижа, — лучшее произведение большого художника. Но не одного, а целого коллектива.

Стаж у коллектива большой — 2.000 лет. Сейчас для перспективы сносится громадная улица со 150 домами, чтобы открыть вид и создать площадь. Крайне мелочные и скупые французы для шику и красоты ничего не жалеют. Заплатили деньги, откупили дома, — еще прекраснее и шире стала улица.

Для меня не выяснен вопрос: создали ли лучшие художники Париж, или, наоборот, Париж создал больших художников. И то и другое — правда.

Зато современный Париж не создал театра.

К сожалению, театр не отображает сказочного города с его театральностью, блеском и динамикой: он лишь — отображение внутреннего мира французов, с их мещанской моралью, ненужными условностями, с их показной красивостью.

В Париже 3.000 театров. Все полны. Но даже самый захудалый наш провинциальный театрик живее, новее и оправданнее.

У подъезда Гранд-Опера — сотни такси. Туалеты, цилиндры важно подымаются по розовой мраморной лестнице. Движущиеся между колоннами пары занимают, наконец, места. Занавес взвился.... Фауст.

Этого самого Фауста, с этими самыми декорациями смотрели, вероятно, Зола, Додэ, Дюма... на сцене ничего не изменилось. Те же мизансцены, те же условные жесты Вампуки, те же декорации и то же с улыбкой преподнесенное верхнее „до". Нет ни режиссера, ни актера, ни художника.

В Комеди Франсэз то же самое. Кроме прекрасных актеров, ничего нет. Ни постановки, ни сквозного действия, — ни динамики. Отдельные сцены, сами по себе актеры и живы и талантливы, но пьеса скучна. То же и в других театрах, то же и в области искусства танца.

Париж танцует. Танцует с утра до утра.

В этом танцующем городе — нет искусства танца; в городе со врожденной театральностью — нет настоящего театра.

Париж не дал за последнее десятилетие ни одной балерины, ни одного постановщика танца, ни одной настоящей хореографической композиции.

Извините, забыла... есть, есть...

Павлова, Карсавина, Фокин, Мясин, Спесивцева.

Это — не французы? Нет? Но почему гран-сезон в Париже начинается этими именами и кончается ими?

И это продолжается уже двадцать лет.

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ.

Литература и недра быта.

АНДРЕЙ БЕЛЫЙ.

Говорили когда-то о том, что российская литература крепка отражением быта; потом поднимали решительно лозунг: „Смерть быту!". И называли всю бытовую литературу литературой реакционной; на смену погибшему быту возникло живописание душевных движений во всей беспредметности их: подражали во всем Пшибышевскому, у которого вместо данного места и данного индивидуума, одушевленного данным мотивом, выскакивает зачастую из хаоса неизвестности, появляясь в кафе, просто так себе, „Фальк", безо всяких мотивов,—лобзать, философствовать и насиловать женщин; о месте кафе невозможно сказать, где оно: не то в Мюнхене, не то в Львове; страна, национальность и быт обстающий—даны, как в тумане; в таком же тумане даны обиталища Фалька и многих лобзаемых женщин; на фоне тумана отчетливо выступают страннейшие пожелания Фалька: зажечь папиросу от солнца; отчетливо выступают физиологические отправления и движения мускулов (лобзал, пил, насиловал, дергал лицом, скрежетал и т. д.); город, страна и сословие Фалька садятся в туман; даже самые ресторанные лампочки подаются в раздробленном виде: между ресницами Фалька; психологическая вибрация вытесняет обстание бытом у Пшибышевского, долгое время считавшегося провозгласителем новой безбытной литературы.

Какою разительной противоположностью кажутся произведения Гоголя, полные подробных отчетов о месте рождения и условиях воспитания Чичикова; если этот последний показан в гостинице и глядит из окна, то показано все, что он видит в окно; быт обставил творения Льва Толстого и Гоголя; реалистически выписана наружность героев, ужимочки их, их костюмы. Вместо этой богатой картины—какое-то „где-то" и „что-то", в котором безвестный пришелец закуривает папироску от солнца.

Но, оказалось, безбытица литературы сама есть продукт жизни быта кофейного: в него впали естественно представители литературной богемы всех стран, загласившей: „Смерть быту!". Безбытица их оказалась формою перехода в быт лумпен-пролетариата; „безбытица" выявилась разве бытом кафе, где на вид утонченная психология зажигания папироски от солнца есть следствие стационарного алкогольного отравления; утончения эти, как и грубейшие „нраву моему не препятствуй"—явления смежные; то, что Островский описывал сатирически, стал серьезно описывать Пшибышевский; общеизвестный курьез обернул он вполне исключительным фактом; в то время, как поколение купецких отцов у Островского допивалось до зеленого змия, поколение купецких сынков допивалось у Пшибышевского до желания поджечь попироску от солнца; так быт ресторана сменил быт трактирного заведения; вот и все. И безбытица Пшибышевского оказалась сидением в быте.

Приглядитесь к рисункам чиновного быта у Гоголя. Приглядитесь к коллекции разночинцев у Достоевского, к сочной кисти дворянского и крестьянского быта Толстого,—вы ясно увидите: „нечто" за вычетом быта пребудет в поставленных перед сознанием образах; замечательный парадокс: „безбытица" Пшибышевского—продукт быта; вы тронетесь в сторону от кофейного быта,—утрачивается интерес к этой вялой „безбытице", а в отражениях быта дворян, разночинцев, крестьян у Достоевского и Толстого за бытом проступит лежащее нечто под бытом: всечеловечность описываемых устремлений, как бы обнаженных от всех бытовых оболочек. Сплошная материя распадается на атомный пунктир и на пустоты меж атомами; и проблема движения возникает в необходимости объяснить перепрыги от атома к атому, точно так: проницание деталей рисуемых бытов ведет сквозь детали—*за* них, в ту глубокую сферу сознания, где быт растворяется; умирает российский дворянский сынок, князь Андрей, у Толстого. Читатель же (дворянин, пролетарий, крестьянин, американец, японец и русский сегодняшнего и вчерашнего дня) глубочайше взволнован. „Андрей" у Толстого живет, мыслит, действует, умирает, как князь; вместе с тем: он живет, мыслит, действует, умирает, как человек вообще; он в сознании нашем приподнят над бытами. Макбет, Гамлет, Фальстаф—не живут ли среди нас? Они—символы всечеловеческого достижения сознания, сдавленного игом места, сословия, времени, но порывающегося к свободе.

Свобода осуществима лишь в будущих достижениях человечества, но выявление свободы возможно в том случае, если свобода дана нам в потенции ныне; из несвободы свобода не может родиться; зародыш свободы—зародыш воистину человека, порабощенного ныне животным по имени „homo sapiens": он еще есть прикованный к скале Прометей, где скала—современное государство, быт нации, быт семейный, или—сеть предрассудков, спрессовываю-

щих наше „я“; но потенция к будущей свободной сознательной жизни живет устремлением расширения „я“ в коллектив; человеческое начало в нас есть коллектив человечества; можно прямо сказать: вся история человечества—эмбрион свободного человека, осуществимого в будущем, но слагающегося в нынешнем рабстве у быта; этот эмбрион—песня без слов о нашем „я“, или песня о „мы“ коллектива; она нам дана ритмом музыки, бьющей в тюрьму нашей замкнутой личности, как мелодия, излетающая из гласящей трубы; труба—быт; звук мелодии, названной некогда идеалом,—стремление к вырыву, к смерти в условиях быта и класса, к рождению новому в „мы“ коллектива; стремление осуществляется в созиданиях так называемого типового явления; тип же есть символ искомого расширения в коллектив единичного „я“, совмещение в одной личности многих личностей, пересекаемых высшими целями. В подлинном творчестве мы встречаемся с действием расширения личности до предела: предел—коллектив; таким образом продукт творчества носит печать столкновения мотивов сегодняшней жизни с искомой, грядущей, сверхличной; тип—образ осуществления этого столкновения; его символ—труба, извлекающая звук грядущей свободы в условиях рабства и быта, где личности быта суть оболочки; мы знаем, что звуки рождаются в быстрых сужениях и расширениях тока воздуха; быт—условие выявления всего типового посредством насильственного сужения общего в личное; тип же—условие необходимости бытовых отложений на творчестве; быт „безбытный“ есть воздух, не издающий звучаний, а протокольные записи быта—обезвоздушенные оболочки, иль трубы, в которых отверстия заклепаны. Быт, нам данный без расширения в типовое явление, не является творчеством; литература же прописей, лозунгов и тенденций опять-таки не искусство. Искусство—труба говорящая.

Целая полоса современной литературы характеризуема, как полоса отражения революционного быта, и к этому быту притянуты революционеры и многие из „попутчиков“ (пренепонятнейший термин): не сопровождают, но делают революцию подлинные художники.

В произведениях искусства с одной стороны—все лишь быт; материал образован (дан в образах); образ—бытийственен, „бытен“. В художественном явлении с другой стороны все—не быт: ведь, тенденция нам дана в расширении быта, в химическом изменении быта, в трагедии столкновения замкнутых, несвободных мотивов с мотивами, рвущими стены тюрьмы; в художественном начале кипит революция против всего бытового; итак, столкновение литературы бытовиков с внебытовой тенденцией, вырывающих друг у друга патент на искусство,—всегда столкновение за порогом искусства; чем яростней спор этих лагерей, тем быстрее искусство в них киснет.

Художественное произведение — моллюск, отлагающий ракушку; ракушка без моллюска есть быт; зарисовка ее есть удел этнографии; возникновение памятников литературы во времени здесь является превращением этнографических данных в тяжелую археологию. И с другой стороны: сам моллюск, преждевременно вырванный из его облегающей ракушки, есть безбытно изобразимая и вне образов пребывающая тенденция, ломающая целое образов; с отнесением материала к музейному ведомству засыхает тенденция в социальной статистике. Синтез химический выявляет из двух ядов неядовитую полезную соль, а смесь этих ядов даст только яды: два яда. Поэтому, где явления типовые и бытовые даны не в химическом синтезе, а в смешении единичных явлений с тенденцией, внешне приляпанной к ним, там искусства нет вовсе, там—вящщее безобразие протокола, сопровождаемого примечанием, не окружающим быт.

Протягиваясь к литературным явлениям современности, сплошь да рядом наталкиваешься на отсутствие быта в одних; вместо образа быта—какие-то пустые пространства ложно-революционных потоков словесности, повторяющих звуками слов: „Революция рреволл... рррреввв... ррр“—что? Как часто все это лишь ветер беззвучный.

Обратно: беру „Недра“—сборники, поставляющие читателю бытовой материал; спору нет: попадаются сильные вещи, рисующие быт Советской России, но часты ль они? Они тонут в собрании бытовых протоколов, рисующих единичные фактики из обывательской жизни и представляющих этнографический, а не художественный интерес; они—вскрытые недра вчерашнего быта, и только; герои их вовсе не типы, а обыватели с наличностью вчерашнего кругозора, но без наличности печки, пайка и т. д.; вскрыты усилия заручиться пайком и поставить буржуйку; где здесь революция? В чем? В вялой прописи ее нет; нет химического восстановления искусства из пепла недоразвеянной жизни: есть пепел да ветер, тем пеплом пылящий в глаза. Недра быта такие—не яма ль вчерашнего дня, вырываемая в дне сегодняшнем; то—заклепанная труба; произведение искусства—труба, издающая звук.

Современные бытописатели не стремятся расширить явление бытовое до типового; сегодняшний тип завтра есть коллектив, состоящий из личностей. Макбет, Гамлет и Лир—фотографии ль, голые ль прописи отвлеченных конфликтов сознания? Нет, они—выражения неосознанного коллектива из особей, брошенных по пространству, по времени, по народам, по классам; средь нас есть и будут Фальстафы и Гамлеты; но коллектив их встает прототипом, Фальстафом, нам данным в произведении творчеством.

Пусть бытовые писатели углубят свои недра; тогда обнаружится только: на дне этих недр есть проход в сферу общего, типового, откуда врывается ветер искусства — дать звук негласящей трубе: недрам быта; быт—средство; нет,—он не цель.

Пусть кипение революционного звукословия, умножающего букву „ер“ на эстраде случайного литературного вечера, превратится в работу преображения быта; обратно: пусть быт окрылится и станет трубою глаголящей, не немою трубой,—не отверстием изнутри заклепанных недр; и увидим, наверное, мы великолепные образчики творчества, отражающие величие нашей эпохи.

ПОЧТИ ВСЕ О МАЯКОВСКОМ.

И. А. АКСЕНОВ.

Мне всегда казался характерным тот факт, что история не сохранила нам хотя бы каких-нибудь анекдотических данных о жизни великих эпиков прошлого. Возражение, что подлинные инициаторы эпических поэм вообще неизвестны, что Гомер — лицо вымышленное, что авторы Гудрун, романсов о Сиде, былин об Илье Муромце и подвигах Кухулина—неизвестны,—только свидетельствует о малом интересе слушателей к личности первого сказителя данного эпоса. Орфей—лицо не менее мифическое, чем Гомер, но его сказочную биографию мы знаем; мы знаем и историю Марсия, хотя не имеем понятия о его творчестве — этот лирический неудачник представляется нам редким образцом поэта, известного своей смертью, но совершенно не заинтересовавшего потомство своими произведениями. Сто́ит ли умножать примеры? Лирический поэт всегда интересовал современников своей личностью, и она во мнении потомства являлась, повидимому, не меньшей ценностью, чем литературная ее проэкция.

Поэтому, говоря о лирических поэтах нашего времени, без обращения к личности их обойтись нельзя. Это, конечно, противоречит добрым нравам литературного безличия и обезличения, идет вразрез с правилами примитивной корректности и является грубейшим вторжением в непринятые для критики области. Вообразите, если вам в обществе предложат раздеться и начнут стучать костяшкой по спине—неприлично. И однако, исследовать ваш организм, не прибегая к таким некорректным методам обращения,—нельзя. Исследовать искусство лирического поэта приходится тоже путем выслушивания и просвечивания.

Маяковского я видел много раз. Я знал подробности о его жизни, слыхал еще очень давно, году в двенадцатом, о нем. Маяковский тогда еще не печатался. Я встречал людей, бывших свидетелями его литературного развития, слушал отзывы его недоброжелателей, воспоминания женщин, с которыми он был близок, и мужчин, с которыми он играл в карты. Мне довелось по его просьбе давать ему советы в некоторых жизненных затруднениях и разрешать как-то щекотливый вопрос о целесообразности немедленного заушения одного долговязого франта, обязанного моему совету сохранением привлекательности своего профиля. Мне невозможно и сейчас отказаться от того обаяния, которое свойственно личности В. В. Маяковского, от впечатления той грузно и спокойно залегшей нежности и укрощенной грусти, которая пленяет всякого, хотя бы поверхностно ощутившего ее собеседника или мельком отметившего это явление наблюдателя. Это признание кажется мне гарантией моей критической беспристрастности.

В разборе современных нам литературных явлений эту беспристрастность вообще трудновато сохранять. Попытки выйти из этого затруднения путем ухода в объективный критерий приводят к торжеству теории, положенной в основание этого критерия, но уводят критика в сторону от непосредственного объекта его вниминия. Коган и Фриче дают блестящий пример весьма искусного изложения марксова тезиса о базисе и надстройке, независимо от того, пишут ли они о Рабле или Метерлинке. В те времена, когда за открытое изложение Маркса, излагателя низлагали с занимавшейся им кафедры и ссылали в столь и не столь отдаленные местности, такой критический метод был весьма полезен, но в годы процветания Института Маркса и Энгельса, Коммунистической Академии и Университетов он в значительной мере потерял свое оправдание. Истина о базисе и надстройке стала уже аподиктической, подкреплять ее еще новыми примерами, пожалуй, и непочтительно.

Метод психиатрической критики, сводящийся к обнаружению в писателе того или иного нервоза и исходящий из предпосылки явной ненормальности чудака, занимающегося писанием стихов, приводит к неизбежному определению номенклатуры его болезни с явным намерением оберечь общество от такого опасного члена его. Пушкина можно было бы вылечить: он перестал бы стихи писать и был бы исправным камер-юнкером, не хуже других. В обоих случаях, однако, остается неясным, почему именно Пушкин занял такое исключительное место в надстройке, а не занял его Тепляков, и почему именно психоз Пушкина, а не Кукольника, до сих пор привлекает внимание читателей и поэтов. Что объективные критерии в приведенных разновидностях, проходя мимо поэта и поэзии, в сущности совпадают, видно из аналогичности критической оценки. Если Баженов или Чиж готовы вылечить Пушкина от поэзии, то Коган публично признается, что, осуждая Брюсова на всем протяжении его литературной деятельности за писание стихов, он, Коган, произносит поминальную речь этому поэту за то, что Брюсов никогда не опаздывал на заседания в Наркомпросе и помнил наизусть циркуляры этого учреждения. Критика этого рода в наше время несколько заблудилась,— переменив свой объект. Занявшись, скажем, вопросами воспитания будущих совслужащих и рационализацией канцелярского делопроизводства на основах НОТ, она могла бы принести значительно большую пользу.

Вообще общеобязательность какого-нибудь определения только заставляет наново пересматривать предметы, находящиеся под небесной твердью этого определения. Если все в мире есть стилистический прием, как полагает Шкловский, то чем отличается стилистический прием, именуемый Тэн, от стилистического приема, именуемого Шкловский, и который из них рациональней? Если по мнению профессора Ермакова, всякая поэзия— есть результат анальной или уретральной эротики, подкрепленной действием эдиповского комплекса, то почему поэзия Батюшкова имеет один вид и один круг воздействия, а поэзия Пушкина — другой? На это защитники объективного критерия могут ответить только

одно: нам важен наш критерий сам по себе. Нам нравится повторять его до потери сознания, как дьячок повторяет свое „помелосподи“, а до повода произнесения нашей формулы ни нам дела нет, да и вам быть не должно.

Так критика становится лирикой и лирикой самой примитивной. Лирикой ботокудов и шаманением остяков. Не попробовать ли просто лирически оценить современных лириков, в формах более откровенных и более близких нашему чувству?

Те, кто хотел бы особенно подчеркнуть и подкрепить свое очарование поэмами Маяковского, охотно утверждают, что революция производственных отношений, создание нового общества и нового базиса для идеологической надстройки естественно приводит к созданию и новых лирических оформлений чувств. Такая новизна изложения свойственна поэзии Маяковского,— стало быть, лирика Маяковского по существу революционна, стало быть, Маяковский— певец революции.

Маяковский, при всем своем презрении к старине, любит говорить о пенье, хотя я никогда не слыхал его поющим. Стихи свои он декламирует и, кажется, выступая даже с певуном Игорем Северянином, не соблазнился модной тогда манерой исполнения эстрадных поэтов.

Тебя пою— накрашенную, рыжую („Ф л е й т а“).
Вижу миллионы, миллионы пою („150 м и л л“).
Где бы ни умер, умру поя („П р о э т о“).

В последней цитате странная оговорка: поэт, видимо, спутал два глагола: — петь и поить. Вряд ли это свидетельствует о его большом знакомстве с пением. Глагол петь для него остаток традиции, клочок „высокого стиля“, появляющегося в патетический момент, нечто вроде машинально совершаемого крестного знамения у давно позабывшего все молитвы крестьянина, или „слава богу“ в словаре оратора-атеиста. Но понятие песни, как лирики и свободного оформления задавленного чувства, как показывает патетика тех же цитат, для него крайне дорого.

К песне двигалась лирика Маяковского до войны и до революции. В этом своем стремлении она опиралась на сильную и высокую страсть, на испытанную многими годами привязанность к женщине. На этом пути выработался стиль Маяковского, легко различимый среди всех русских лириков, создалась систематическая постройка гиперболы, являвшейся до того проходящим украшением протасиса похвальных слов. Гипербола, обращенная к образованию метафоры, а все в целом служившее изображению страдания неразделенной любви, этому извечному мотиву и стимулу сентиментального лиризма, на людей, воспитанных изысканным стилем символо-акмеизма, производила ограшивающее впечатление. Смутно вставал вопрос о несоответствии приема с поводом его применения, но предшествовавшее развитие темы, постоянный гимн величию полового влечения и единственной в мире ценности—страсти— достаточно подготовили публику к эксцессам Маяковского в трактовке этой привычной темы. Так образовывался стиль Маяковского. Он всецело вытекал из методов лирической ориентации символистов, кровно с ними связан, возник и оформился до войны, а тем более до революции.

Скажу больше — лучшие произведения Маяковского: „Облако“ и „Флейта“ были написаны до революции и проникнуты полнейшим эгоцентризмом. В них, правда, имеются ссылки на развертывающуюся трагедию войны, но эти обращения к действительности являются материалом для метафорического возвеличения любовных огорчений поэта. Бедствия короля Альберта, агония пассажиров „Лузитании“, страдания окопников—ничто по сравнению с любовными муками Маяковского. Вряд ли когда соллипсизм находил более ослепительное выражение.

В поэме „Облако“ есть место, часто приводимое, как свидетельство революционной зоркости нашего поэта. В нем говорится о революции, которая должна произойти в шестнадцатый год. Дата эта имеется только в послереволюционных изданиях, первое издание имеет в тексте просто: „который-то год“. Ссылка на цензурное искажение стиха не вполне убедительна: иные цензурованные стихи этого же издания так и оставлены незаполненными (многоточия и линейки). Можно с достаточным основанием предполагать, что пророчество это, как и все иные предсказания, сделано задним числом. Но будь оно даже и в первоначальном тексте рукописи, истинная его революционность вскрывается контекстом.

Революция, провиденная тогда поэтом, не имеет ничего общего по заданиям своим с той революцией, которая произошла в действительности. Революция „Облака“ имеет своим заданием свести за Маяковского счеты с публикой, оказывавшей скверный прием декламации нашего лирика („Голгофы аудиторий Петрограда, Москвы, Одессы и Киева“, „осмеянного, как длинный скабрезный анекдот“),— пусть земле под ножами припомнится, кого хотела опошлить!

Мне кажется, что приведенного достаточно для возражения тем лицам, которые возлагают на революцию ответственность за формальные особенности стиля Маяковского. Революция наша в этом стиле не повинна, не она создала его, и не ее призывал поэт. Искусство его довоенное, старое.

Верно, однако, что он, не колеблясь, отдал его революции. Произошло это, кажется мне, не только потому, что в поэте жили надежды на революционное возмездие освиставшей его публике. К семнадцатому году Маяковский уже входил достаточно явственно в отечественную литературу, на него продолжали коситься, но все более и более начинали признавать. Да и „Облако“ было написано в порывах такой ранней молодости, которая давно уже и у всех лириков всегда давала пищу символам всяческой скоротечности. Революция была дорога и желанна поэту потому, что она потрясла и покорила его любимую стихию — улицу.

Характернейшим для поэзии Маяковского является его органическая связь не с городом в целом, не с его центральными кварталами (большинство символистов), не с рабочими кварталами современных столиц (Жан Риктю), а именно с улицами, с уличной толпой вообще. Улица была тем героем мсти-

телем, о безликости которой сетовал молодой поэт. К уличной публике обращался он с призывом отомстить за него революцией:

> Выньте гулящие руки из брюк (вон они „революционеры!").
> Берите камень, нож или бомбу...

следующая затем парафраза монолога Мармеладова обращена, повидимому, к „гулящему" лумпен-пролетариату—классовая ориентация поэта, конечно, не яснее истории мидян, но авторитет улицы несомненен. Улица же оказалась во власти пролетарской революции. Овладев предметом внимания поэта, революция овладела и самим поэтом со всей его лирикой.

Тогда-то началось создание революционного стиля Маяковского. Создавался он с крайней простотой. Вместо „*накрашенная, рыжая, ты!*" всюду проставлялось слово революция. Гиперболизм построения, составивший уже и ранее основу стиля Маяковского, остался в полной неприкосновенности. Но гипербола, казавшаяся не вполне уместным средством для изображения интимной влюбленности, теперь, в приложении к революции и ее событиям, пришлась ко двору,—вернее, вернулась на старое место—в область *высокого парения и лирического беспорядка оды*. Державинский богатырь, бросавший рукою башни за облака, заставлявший трещать горы под своей поступью, а воды вскипать от своего прикосновения,—возродился в гиперболе Маяковского. Так началась любовь лирики Маяковского к революции.

Измены нет, любовь одна! — как сказали Гиппиус и Зигмунд Фрейд. Любовь нашего лирика к революции, если по стихам судить о ней, была не менее мучительной, чем его любовь к героине „Флейты". Стихи Маяковского о революции проникнуты все тем же напряжением, ищущим песенного исхода и его не находящим. История густым цветом растягивается по ее поверхности, и поэт торжествующей революции возникает из своих произведений в образе гонимого страдальца. Голгофа его не кончилась, хотя аудитория давно перестала ему свистать, она даже сделала его своим любимцем — ни один поэт на нашей земле не слышал себе столь громких и столь дружных аплодисментов. Состав этой аудитории, казалось бы, не оставляет поэту желать лучшего — его любимая улица почти целиком заполняет многоярусную аудиторию Политехнического Музея,—откуда же грусть? Поэту улицы мало улицы.

Впервые он стал заботиться о классовом составе своей аудитории. Он идет со своими стихами на митинг. Организует свои чтения перед делегатами профсоюзов, собирает анкеты, коллекционирует резолюции и приходит в неописуемую ярость, если анонимные анкеты предполагаются подписанными совбарышнями, его поклонницами. Он спорит и доказывает. Он хочет быть признанным пролетарским поэтом. Он желает признания за собой этого титула со стороны старых борцов революции. Он терпит неудачу.

Тщетно столбцы советских и партийных газет заполняются стихами Маяковского, тщетно книги его печатаются во всех разновидностях Госиздата,—Маяковский не может не чувствовать, что чужда его лирика чувствам его издателей, что старый революционер отворачивается от поэтического беспорядка его гипербол. И воспевая торжество революции, Маяковский так же страдает, как страдал герой его поэмы „Человек", целуя губы, протянутые ему любимой, но чужой женщиной.

Личный момент революционной лирики Маяковского особенно явственно проявляется его повествовательными попытками. Как и его учителя—символисты, он не владеет фабулой. И дореволюционные его поэмы излагали ее в крайне скомканном виде—лирическое построение на каждой странице разрывало и мяло построение повествовательное, способное вообще быть изложенным в нескольких строчках. Революцию Маяковский прожил в *канцелярии и мастерских телеграфного агентства*. Событий, которые он излагает к прославлению их, он лично не наблюдал. Отсюда — зависимость его изложения, отсюда запоздалость его суждений. Революционные поэмы Маяковского строятся вокруг данных информационного отдела газеты и повторяют суждения ее передовых статей. Своего мнения, своего события Маяковскому не удается найти. *Он надеется на готовый материал*, свою гиперболу, и в таком виде выносит его на улицу.

> Хорошо, когда брошенный в зубы эшафоту,
> крикнуть —„пейте какао Ван—Гутена!" (Облако)
> Нигде кроме, как в Моссельпроме! (1923).

Мы подходим к тайне революционного стиля Маяковского — это стиль рекламы. Маяковскому очень хотелось петь революцию — он ее только *рекламирует. Но стиль рекламы—стиль капитализма*. Его можно приспособить к надобностям революции и такое приспособление может быть вызвано революцией, но самый стиль останется стилем дореволюционным. Какие слова не пиши на щитках сандвича—человек-сандвич не станет знаменосцем, хотя найдутся люди, утверждающие, что сандвич современнее знамени. Ассоциативный элемент силен—символ борьбы неизменно остается привлекательнее символа наживы. Реклама не дает песни. Много раз делались попытки положить на музыку стихи Маяковского — неудача этих попыток известна. Много раз вузовская молодежь пыталась демонстрировать со стихами Маяковского—коллективная декламация получалась, но никому в голову не приходила мысль запеть этот текст. Певцом революции Маяковский не стал и не станет.

Молодые пролетарские поэты в начале своей деятельности пробовали усвоить стиль Маяковского в своем изложении. Теперь, поскольку могу судить, эти попытки оставлены. Гипербола Маяковского оказалась, повидимому, слишком индивидуальным приемом и развиться в стиль не может. Да, наше время уже не удовлетворяется более или менее беспредметным лиризмом. Повествовательный элемент все отчетливей пробивается в современную поэзию.

Растущее его влияние имеет свои причины, подлежащие изучению более необходимому, чем уже уходящая, прекрасная, но старозаветная лирика Маяковского, исчерпанная уже до конца, как и его личным творчеством, так и восприимчивостью внимательных к нему поэтов.

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

СОЛДАТСКАЯ СКАЗКА.

АЛ. БЛОК.

Солдатскую сказку А. А. Блока передал редакции Б. А. Садовской. В письме он пишет:

„История „Солдатской сказки" такова: В январе 1915 г. А. А. Блок предложил мне шутливое пари. Он обязывался в три дня написать модный в те дни „военный рассказ", а я должен был его пристроить под видом „пробы начинающего автора". Если рассказ напечатают, Блок ставит мне бутылку шампанского, в противном случае угощаю я. Гонорар назначался в пользу раненых. При этом А. А. взял с меня слово о полнейшем соблюдении его инкогнито. Ровно через три дня я получил по почте переписанную на машинке „Солдатскую сказку" и снес ее сначала А. А. Измайлову в „Биржевые Ведомости". Измайлов сказку не принял, так как „французы — наши союзники" (в сказке взят 1812 год и лубочный Наполеон); в „Ниву" ее не взяли по причине „чрезмерной оригинальности" (буквально так и выразился Светлов); редакцию „Вершин" смутило, что „автор никому не известен". Наконец, я отправился в „Лукоморье", с отчаяния пустившись на хитрость: так как рассказ, по уговору, составлял мою собственность, я, скрепя сердце, повытравил из него „чрезмерную оригинальность", надеясь таким образом разыграть пари в ничью. Но и это не помогло. Сказку не напечатали, и мне пришлось, уезжая на пасху в Нижний, выставить Блоку бутылку неимоверно вздорожавшего к тому времени шампанского".

Бонапарт французский Наполеон был нравом жадный и гордый, как есть настоящий живоглот, но воин отменной храбрости. И захотелось ему повоевать нашего батюшку, государя Александра Павловича. Так, чтобы подступиться прямо, нахрапом, не решался Наполеон, имея свою политику, а для деликатного объявления войны не хватало у него сходственного предлогу. Вот и надумал он, наконец, как похитрей приступить, и пишет, стало быть, русскому царю: так, мол, и так, посылаю я к вам в Россию двенадцать человек моих генералов-маршалов, и ежели ты их круглый год прокормить сумеешь, буду я тебе первый кум и сват. Ну, а коли не выстоишь по части прокорму, не прогневайся: пойду на Россию, и Москву спалю. Только условием непременным поставляю: это чтобы подавать им столовую посуду из чистого серебра.

Прочитал грамотку Александр Павлович и созвал на совет своих сенаторов, генералов, князей, фельдмаршалов, славных, могучих богатырей:

— Вот что, детушки, пишет Наполеон, Бонапарт французский; как мыслите, что нам делать и какой живоглоту ответ давать?

Выходит генерал Аракчей: „Не пущай, государь, на Русскую землю маршалов, они у нас все поприедят". А ему наперекор Сперанец, сенатор: ан, говорит, пустить: у русского царя хлеба про всех хватает. Заспорили Аракчей со Сперанцем, стали перекоряться и возговорил тогда Александр Павлович: приказываю пустить.

Вот и приехали к нам двенадцать маршалов, то-есть, послов французских: Мурат, Ной, Дави, а всех и не выговоришь натощак. Привезли их с границы наши, стало быть, государевы курьеры, лихие московские ямщики, с колоколами-глухарями валдайскими, под расписными, золочеными дугами, в тележках крытых, на колесах кованых; духом примчали живоглотовых детей в самый Питер на реку Фонтанку. Ладно.

Тем часом и царские генералы не дремали: приспособили маршалам подходящую квартиру: в парадной комнате липовый большой стол, у стенки нары, часы с гирями, в углу рукомойник медный, и двенадцать дворцовых мальчиков приставлено для услуг. Сейчас с дороги надели маршалы свои золотые мундиры и голубые ленты и поехали во дворец. Александр Павлович с ними побеседовал и отпустил с честию. Маршалы прискакали домой, мундиры и ленты поскидали и отдыхать завалились. Соснувши часик-другой, встают и кличут мальчиков, стало быть, слуг дворцовых: схлопочите-ка нам, ребятушки, чайку. Слуги были парнишки шустрые, миголетом споворили угощение. Один сапогом самовар, что мочи есть, раздувает, другой скатерть на стол тащит, тот из-за голенища достает ложечки чайные, портянкой перетирает, этот орехи, рожки да подсолнухи на блюдце сыпет. Вот и позвали они, значит, маршалов чай кушать и, как сказано было по уговору, все чайные причиндалы подали из чистого серебра: самовар, стало быть, серебряный, тяжелый, вшестером еле-еле на стол взмостили, поднос это, чайник, чашки, блюдечки — все из первейшего сибирского серебра восемьдесят четвертой пробы. Сели маршалы за стол, напились, наелись, говорят: буде. Мальчики сунулись было убирать, ан нет, погоди; маршал Мурат как схватит самовар, грызет его, кусает и в одну, слышь ты, минуту схрупал весь как есть целиком, с канфоркой и с крантом. А за ним и прочие все похватали, кто чайник, кто поднос и все, скажи на милость, сожрали, нечего и со стола убирать, окромя

скатерти мокрой да хлебных крошек. Мальчики видят: дело-то выходит не хи-хи, эдак и посуды, пожалуй, совсем не станет. Ай-да маршалы!

На другой день опять та же самая история: слопали гости весь чайный струмент и через неделю эдак и через месяц. Что маршалам ни подадут к обеду, к ужину, или к чаю, все они и с посудой дочиста уберут; началась у нас в серебре нехватка, и стало казенное богатство убавляться, не из чего, гляди, и монету бить. Призадумался государь Александр Павлович и приказал расклеить по всей российской земле на столбах печатные надписации: не найдется ли какой бесстрашный охотник ослобонить нас от Наполеоновых обжирал. Грамотные люди надписацию читают, а неграмотным говорят — и скоро по всей России прошла молва насчет французских сереброедов. Только все не находится никого, да и то ведь, скажи на милость, где это видано, чтоб люди посуду серебряную глотали. Был в Калуге лентяй — Заспиха, и шел тот Заспиха по базару, нес луку головку, да полуштоф сивухи, и увидел он эту самую надписацию на полосатом столбе. „Эх, говорит, да мне это дело плевое; я их одной минутой усмирю да еще так потрафлю, что и серебро-то они все назад вернут“. Эти слова его сейчас услыхал квартальный да к городничему; городничий, стало быть, курьера к губернатору, губернатор с эстафетой к Аракчею, Аракчей бегом к Сперанцу, а Сперанец к самому батюшке-царю. И привезли Заспиху в Зимний дворец, перед ясные государевы очи: „Можешь ты нас от французов ослобонить?“—„Могу, ваше царское величество, только прикажите одеть меня тараканским королем, хлеба мне дайте краюху да кочергу; я с этими обжорами переночую, а утром увидите что будет“. Тут Аракчей со Сперанцем Заспиху начали обнимать и деньгами жаловать, а он им в ответ: „Постойте, братцы, спервоначалу надобно дело кончить“.

Так все и сталось, как по щучьему веленью. Заспиху вымыли в бане за Синим Мостом, обрили, одели в тараканский мундир с петушьим пером и бантом и повели на Фонтанку к маршалам.—„Вот, мол, вам, господа, новый товарищ, тараканский король, примете ли его в свою компанию?“—„Пущай живет,— отвечают маршалы,—мы еще оченно даже рады: прискучило, вишь, все промежду себя, а по-русскому мы не разумеем“. И зовут тараканского короля чайку испить. Мальчики подали самовар и ждут за дверью в сенях. Сел к столу тараканский король, трубочку курит, дым пускает да поглядывает одним глазком. Не успел маршал Мурат самовар разгрызть, как хватит его кочергой по темени наш Заспиха, тот и не пикнул, под стол свалился, живой или мертвый, не разберешь: глаза открыты, а сам не дышит: оппентило, значит. Ной, маршал, за чайник было принялся, только хотел разинуть рот, а тут и его Заспиха по лбу огрел и к Мурату под стол отправил. То же случилось и с маршалом Дави и с прочими остальными. Вот как они под столом ватагой полегли, Заспиха краюху взял, посолил, перекрестился и сел за ужин, а мальчики у дверей стоят да от радости плачут. Заспиха говорит: доложите царю, что я дело свое исполнил, осталось теперь серебро казенное воротить. Пусть государь прикажет завтра на Красной площади смолу в котле вскипятить, короб пуху гусиного насыпать да чтоб приготовили дюжину кибиток почтовых до границы, теперь, братцы, с богом спать ложитесь: утро вечера мудренее.

На зорьке встал наш Заспиха, умылся, помолился богу, чайку с калачиком выпил и трубочку запалил. Маршалы все под столом рядком лежат, как тараканы мареные, знай только усами поводят да щурятся на солнце. Заспиха их поднял, одел и велел отвезти на площадь. Приходит туда и сам, а там народу гибель, тьма-тьмущая, яблоку упасть негде. Котел чугунный в сторонке кипит-клокочет, короб с пухом раскрыт-готов и двенадцать кибиток дожидаются, колокольцами-бубенцами брякают, кони удило грызут, озираются, ямщики кнутиками поигрывают. Приехал на белом коне Александр Павлович, с ним Аракчей-генерал, сенатор-Сперанец, вся светлая свита царская, генералы, адмиралы, князья, фельдмаршалы, бояре, бароны, графы, сенаторы, славные могучие богатыри. Вывел Заспиха Мурата, поставил, развернулся, как даст ему по затылку, и покатилась из глотки маршала серебряная посуда. Эдаким родом переколотил наш Заспиха всех сереброедов и повыскочили из них самовары, чайники, тарелки, солонки, блюдечки, миски, ложки и вилочки. Вся Красная площадь серебром горит, не успевают слуги подбирать, на телеги класть, таскают в подвалы царские. Вот как все серебро из обжор повытрясли, ожили наполеоновы маршалы, подпоясались и ладят пуститься на утек.—„Погодите, господа почтенные,— говорит Заспиха,—надо еще вас за бесчинство примерно поучить“. И велел окунуть всех маршалов с головой в смолу и в пуху хорошенько вывалять, а потом такими страшилами рассадить по кибиткам. Свистнули-гаркнули удалые ямщики, залились валдайские колокольчики: вирь-вирь-вирь! Поминай как звали.

Воротились маршалы домой чуть живы и прямо к Наполеону: „Погляди-полюбуйся, что сделали с нами в Питере: осрамил нас тараканский король“. И осердился шибко Наполеон. Характером был он жадный и лютый, настоящий живоглот, но воин отменно храбрый. И пошел он на матушку-Москву. И возгорелась баталия на славном на Бородинском поле. Было с Наполеоном четыреста миллионов войска, со всего свету народ собрал и все против одной нашей Россиюшки. Да не вышло ихнее дело вовсе. Что не пальнет француз из пушки, то и мимо, а мы, как ахнем, так миллион долой. Экая незадача Наполеону. Видно, правду сказывают, что силу русскую одолеть невозможно.

БИБЛИОГРАФИЯ

Майкл Арлен. „Зеленая шляпа“. С англ. Изд. „Петроград“. Л.

М. Арлен—один из наиболее талантливых английских писателей нового поколения, острый импрессионист, мастер стиля и фабулы. Наиболее нашумевшее его произведение—„Зеленая шляпа“—описывает быт и нравы высшего лондонского общества в послевоенную эпоху. Темой романа является борьба богато одаренной и обладающей независимым характером женщины против предрассудков и условностей окружающей ее косной и лицемерной общественной среды.

Луиджи Пиранделло. „Дважды умерший“. С итал. Изд. „Петроград“. Л.

В книге рассказана история о „живом трупе“, о человеке, который случайно был сочтен утонувшим, пожелал воспользоваться этим недоразумением и, отказавшись от своей прежней гражданской личности, задумал жить новой жизнью. Эта ситуация приводит к множеству трагикомических недоразумений и, в конце концов, становится невыносимой для героя, который решает вернуться в прежние условия существования. Но тут оказывается, что его место в бывшей семье и вообще в жизни уже занято.

Елена Белау.—Легкомысленная супруга. С нем. Изд. „Петроград“. Л.

Произведение молодой немецкой писательницы рисует жизнь западной Германии в 70 годах восемнадцатого столетия, приводит читателя в Веймар, где тогда подвизался молодой Гете, показывает нам старого знакомца—враля и пьяницу барона Мюнхгаузена, с большим искусством и литературным тактом раскрывает картину той поры, когда умирающее рококо уступало место первым веяним эпохи романтизма.

Анатоль Франс. „Последние страницы“. С франц. Изд. „Петроград“. Л.

Незадолго до своей смерти Анатоль Франс работал над книгой диалогов в жанре Лукиана Самосадского. Книга не доведена до конца, но многие страницы и целые главы имеют законченный характер. Таковы диалоги, трактующие о метафизике, о религии, о войне и т. д. Все эти фрагменты собраны и с соответственными комментариями подготовлены для печати Мишелем Кордэ, одним из ближайших друзей А. Франса.

Норрис, Франк. „Омут“. Пер. с англ. Изд. „Мысль“, Л. 379 стр. Ц. 1 р. 50 к.

Роман описывает жизнь деятелей чикагской хлебной биржи. Герой, крупнейший хлебный спекулянт, постепенно втягивается в биржевую игру, забывая и пренебрегая горячо любимой женой. Оскорбленная женщина едва не изменяет мужу, но катастрофическое падение цен на бирже, повлекшее за собой банкротство героя-спекулянта и его тяжкую болезнь в самую последнюю минуту „спасает ему любовь жены“.

В книге нет живых людей, нет жизненных положений. Описание биржи—плохая подделка под Золя. Автор „Омута“ весьма снисходителен к биржевикам. Социального зла в биржевой игре он почти не усматривает. Игра на бирже, как и картежный азарт, вредна, главным образом, самому игроку. Она его морально опустошает. Но и тут возможно чудесное избавление.

Конец романа—воплощенная идиллия. Спекулянт и его жена, счастливые своей воскресшей любовью, уезжают из Чикаго создавать себе состояние сызнова. Книга рассчитана на добродетельные вкусы американского мещанства.

Луи Рукетт. „Великое белое безмолвие“. Пер. с фр. Изд. „Мысль“. Л. 205 стр. Ц.

Роман из жизни одинокого француза, золотоискателя на Аляске. Фредди (имя золотоискателя) много путешествовал и работал на разных поприщах, был и рабочим, и литератором, но всегда неудачно. Автор ведет рассказ от себя, описывает тех суровых людей, которых ему довелось встретить. И автор, и люди, и собаки, которых автор описывает наравне и на-ряду с людьми, созвучны суровой природе Аляски, этому „великому белому безмолвию“.

Дж. Ол. Кэрвуд. Казан. С англ. Изд. „Мысль“, Л.

Роман представляет собой биографию собаки-волка, ездовой собаки Дальнего Севера. Казан (так зовут собаку) вырвался от поработителя-человека, ушел бродить по снежной пустыне, где встречается с волчицей. Это—любовь на всю жизнь. Вскоре волчицу ослепляет рысь. Казан заботится о ней так, как редкий человек о своем товарище в несчастьи. Самый страшный враг собаки, человек, снова встречается на пути этой оригинальной пары. Он заарканивает Казана, уводит его в город и устраивает поединок с другой собакой, тоже ездовой породы. Обычно эти собаки при встречах дерутся, чтобы получить право на первенство. Но в цирке, под взглядом нескольких тысяч человек, собаки вялы, апатичны, и боя нет. Ученый, заинтересованный этим неожиданным пониманием собак, освобождает их от спекулянта и едет с ними вновь по великой северной пустыне. Казан и тут освобождается. Первое его побуждение—найти подругу. Руководимый своим удивительным чутьем, он отыскивает ее, наконец.

Роман волнует своей простотой и непосредственной силой.

Карин-Михаэлис. „Девочка с цветными стеклами“. С датского. Изд. „Сеятель“, Л.

Маленькая девочка Гунхильд смотрит на мир своими косящими глазами через любимые цветные стеклышки. Растет нежная девочка в обстановке семейных передряг, фальшивых условностей, худо, но тщательно скрываемой от „света“ нужды. Свое маленькое сердечко Гунхильд отдает людям, изо всех сил хочет помочь каждому. Ее трогательная наивность, ее цветные стеклышки еще ярче оттеняют нелепости окружающего мещанства.

Т. С. Стриблинг. Генерал Фомбамбо. С англ. Изд. „Петроград“, Л.

Роман рисует опереточную государственность в мелких республиках Южной Америки. Все перевороты совершаются во имя „свободы и независимости граждан“, и все захватчики власти насильничают, кто во что горазд. На фоне этих полутрагических, полуфарсовых бурь

развертывается довольно ординарный роман между нью-йоркским комми-вояжером и женой генерала Фом-бамбо, одного из диктаторов.

Е. Войнич. Овод в изгнании. С англ. Изд. „Пучина", М. Успех „Тарзана" породил ряд „продолжений": „Сын Тарзана", „Тарзан и его животные" и т. д. Можно ли было ожидать, что та же участь ждет „Овода"? „Овод в изгнании" производит впечатление плохо подогретого блюда. Читатель встречается с Оводом уже на исходе его мытарств, в начале его успехов. Мало веришь здесь его мытарствам, не радуешься его успехам. Лучше бы не читать, не встречаться вновь с Оводом.

Редактор: **И. Лежнев.** Издатель: **Кооперативное Т-во „НОВАЯ РОССИЯ".**

Содержание № 1 (распродан)

Редакционная—XIV съезд.
Тан и Ф. Малов.—Деревенская Дискуссия
И. Лежнев—„Госшапка". Мысли вслух.
Ал. Толстой и П. Щеголев.—Полина Гебль (Декабристы)—Драмат. поэма.
Евг. Замятин.—О чуде, происшедшем в пепельную среду. Новелла.
Илья Эренбург.—Пивная „Красный Отдых"—Рассказ.
Дм. Петровский.—Червонный казак—Из поэмы.
О. Мандельштам.—Вы, с квадратными окошками. Стих.
Адольф Рифлинг.—„Долой классовую борьбу"!
М. А. Чехов—О постановке „Петербурга" А. Белого в МХАТ 2.
Конст. Большаков.—Заговор зрителя.
Дм. Петровский.—У могилы Есенина. Стих.
Натан Альтман.—Сергей Есенин—Портрет.
Стрелец.—Портрет.
Як. Браун.—Без пафоса—Без форм.
Библиография.

Содержание № 2

Рост трудностей роста.
М. Боголепов.—Юбилей денег.
И. Лежнев.—НЭП—Национальная экономическ. политика.
***П. И. Люблинский.**—Дискуссия о браке.*
Н. Устрялов.—У окна вагона.
Евг. Замятин.—Икс.
***О. Миртов.**—Дуэль в огороде.*
Дм. Петровский.—Казнь Матюшенко.
П. Добычин.—Сиделка.
М. Козырев.—Долго ли нам терпеть.
Бломквист.—В доме напротив.
В. Г. Тан.—Обилие талантов.
Як. Браун.—Фрагменты.
Библиография.

Главлит № 59443. Тираж 8.100

Типография Госиздата „Красный Пролетарий". Москва, Пименовская, 16.



КООПЕРАТИВНОЕ ИЗД-ВО
„НОВАЯ РОССИЯ“
Москва, Тверская, 24. ☆ Тел. 3-46-75.

КНИЖНАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ
ИЗДАТЕЛЬСТВА
„НОВАЯ РОССИЯ“

по первому требованию выполняет заказы на **любую** книгу.

Советы по подбору книг по всем вопросам.

КОМПЛЕКТОВАНИЕ БИБЛИОТЕК.

Учреждениям, организациям, школам предоставляется скидка.

Исполнение внимательное и аккуратное.

Заказы выполняются налож. платежом. При высылке денег вперед и заказах свыше 10 руб. **пересылка бесплатно.**

Заказы и деньги направлять по адресу:
Москва, Тверская улица, дом № 24.
Книжная экспедиция „НОВАЯ РОССИЯ“.

ПРИ КООПЕРАТИВНОМ ИЗДАТЕЛЬСТВЕ
„НОВАЯ РОССИЯ“

Москва, Тверская, 24. ☆☆☆ Телефон 3-46-75

ОТКРЫТ СКЛАД И МАГАЗИН ПИСЧЕБУМАЖНЫХ
═ И КАНЦЕЛЯРСКИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ═

Для школ, учреждений и организаций на льготных условиях производятся поставки и выполняются заказы на заграничные и русские писчебумажные и канцелярские товары. Провинциальные заказы высылаются немедленно наложенным платежом по получении задаточной суммы в размере 10%. Крупные заказы по ОПТОВЫМ ценам.

50 коп.

